

А. Цессарский

РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ



А. ЦЕССАРСКИЙ

**РОМАНТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ**

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1971



СЕДЬМАЯ СИМФОНΙΑ

Двадцать девятое марта тысяча девятьсот сорок второго года. Раннее утро. Худой и обросший, в короткой шинели, иду я по улице Москвы. Сердце колотится так, что болит грудь и трудно дышать. Не узнаю домов, не разбираю номеров над воротами. Натыкаюсь на прохожих, обхожу очереди, молчаливо застывшие у продовольственных магазинов. И едва не прохожу мимо серого двухэтажного дома.

Стою перед этим домом с крестами бумажных полос на черных окнах. Я. Живой. И так просто подойти, постучать. Скрипнет тяжелая дубовая дверь. И произойдет то, о чем думал непрерывно в эти страшные недели.

— Алексей!

Алена ухватила за косяк двери. Лицо ее все больше бледнеет. Почему же ты не смеешься, как прежде, Алена? У тебя дрожат губы.

— Не ждала?..

— Входи.

— Нет, пожалуйста, выйди ко мне. Мало времени — должен ехать в часть. Тебе на работу? Я провожу.

Она молчит. Только пальцы, которыми она держится за косяк, совсем побелели.

— Мне нужно... кое о чем спросить... Алена...

— Я работаю в ночную смену. Но у меня... У меня есть дела в городе... Сейчас выйду.

Солнечно, тепло и тихо у ее двери. Воробьи пляшут на ветках и верещат. А может быть, ни о чем и не нужно спрашивать. Ведь все было так давно, до войны.

Она выходит в том самом светлом широком пальто. Щурится на солнце. И, насильно улыбаясь, говорит:

— В обозе воюешь?

— Где посытнее.

— А бороду отрастил — ворон пугать?

— Девушек приманивать.

— Расскажи же про свои геройские подвиги.

— Лень, их слишком много.

Мы бродим по Москве, поворачиваем в какие-то переулки, проходим через какие-то дворы, пересекаем какие-то пустыри и говорим, говорим случайные слова и все пытаемся шутить.

— Вам не нужны билеты? Понимаете, неожиданно в часть вызвали.

Капитан в кавалерийской куртке и роговых очках близоруко тарашит на нас глаза. Точно извиняется. Билеты? Концерт? Музыка? Разве это еще существует?

Капитан улыбается:

— Берите. Седьмая симфония Шостаковича. Первое исполнение.

— Я устала, Алексей. Посидим в зале.

Аленушка! Это ты рядом со мной в огромном, тускло освещенном зале, у белой холодной колонны. Чуть вытянула шею. Широко открытые глаза кажутся черными. Совсем как тогда, давно, когда еще не было войны... Ведь я не хотел вспоминать! Не все ли равно, почему ты сейчас со мной... Наши будто нечаянные встречи между лекциями. Взгляды через головы голпы на институтских вечерах. Поездка в горы в то последнее лето... Мирная мелодия, которой начинается симфония, против воли захватывает, неудержимо несет в прошлое.

* * *

— Как высоко мы забрались! Николай Николаевич, что за щепки белеют на том склоне?

— Милая Алена, это громадные бревна. Отсюда они кажутся крошечными. Их спускают по высохшему руслу ручья к лесопилке.

— А там, ниже, среди зелени розовые плешины?

— Глыбы мрамора — здесь ведь мраморные карьеры.

— Все вы знаете.

Они оба надо мной, на зеленом гребне горы, почти парят в синем небе. А я вожусь с хворостом, пытаюсь разжечь костер. И конечно, ничего у меня не получается — ветки дымят и гаснут. Я кашляю от дыма и досады. А великолепный Николай Николаевич, руководитель нашей альпинистской группы, наклоняется над кучей хвороста, делает несколько колдовских, неуловимых движений, и весело взлетает язычок пламени, и пляшет в смеющихся глазах Алены.

— Бедный Алеша, ничего ты не умеешь!

Мы с Аленой сверстники. Николай Николаевич старше. Рядом с ним я такой маленький, такой нелепый, что мне хочется тут же, у нее на глазах, свалиться в пропасть.

— Николай Николаич, перенесите Алешу через ручей, не то он непременно утонет!

И она хохочет, хохочет надо мной со своей недостижимой высоты.

А потом осенней ночью в московском переулке. Среди спящих каменных домов.

— Алена, будем настоящими друзьями.

— Ох, какая тоска!

— Всю жизнь буду тебе во всем помогать.

— Вот уж не нуждаюсь.

— Как ты ко мне относишься, Алена?

— Как ко всем детям.

Мы стоим молча. Гулко шаркают чьи-то подошвы. Невнятный говор в открытом окне. Близкий паровозный вопль. Она вздрагивает и улыбается. Сердце мое рвется.

И вдруг в оркестре этот визгливый рожок с его самодовольным и наглым наигрышем. Наци. Война! И снова неизмеримо далеки доброе синее небо над головой и беззаботный смех Алены. И все крошечные трагедии моей юности!

* * *

Часть, в которую я попал, отступала уже второй месяц от самой границы. Люди устали, обносились, ожесточились. В глазах у них постоянный сухой блеск и глубокая боль, точно у тяжелобольных. Я только два дня на передовой. Но мне кажется, я все уже узнал и понял. Мы просто плохо воюем. Отступаем, когда можно держаться. Лежим, когда надо атаковать. И я высовывался из окопа днем, хотя это совершенно не требовалось. И в атаку бежал, стреляя и крича, ничего не видя. Только бы никто не заметил, как мне трудно сделать первые три шага, когда ноги наливаются свинцом и останавливается сердце.

Как-то днем в нашу тесную землянку вошел командир, присел на нары и, ни на кого не глядя, устало сказал:

— Чтобы здесь закрепиться, надо его выбить с высокого берега. Вот какое дело. А черта с два его выбьешь, если не заткнуть пулеметы — он их там понатыкал, не подойдешь.

Командир стал закуривать. Воцарилось напряженное молчание.

— Короче, нужен доброволец на серьезное дело.

Секунды мне было достаточно, чтобы представить, как я один ночью совершаю подвиг — взрываю штаб, разрушаю все планы гитлеровцев. Гибну. Наши армии переходят в наступление, и фашисты бегут. И Алена читает обо мне в газетах, слушает по радио и плачет...

— Товарищ капитан, — начал я, задыхаясь от умиления и гордости.

Будто не расслышав, капитан обвел глазами обращенные к нему лица.

— Возьмись, Лобанов.

Лобанов был самый тихий и самый незаметный из всех. Он постоянно раздражал меня своей вялостью и медлительностью. И его послать на дело, которое требует порыва, героизма! Вместо меня! Вот и сейчас он сонно посмотрел на командира и недовольно проворчал:

— А чего делать-то?

— Понимаешь, бьем на ту сторону наугад из минометов, скорректировать неоткуда. А пока пулеметы не накроем, атаковать — только людей губить. Короче, выход такой. На той стороне у самой воды под откосом дуб растет... Да ты видел, одно дерево и стоит. Высоченное. Верхушка у него над берегом торчит. С верхушки их укрепления, должно, хорошо видны. На рассвете надо нам с дерева подкорректировать огонь. Тогда и атаковать можно. С полчаса там продержаться...

— Понятно.

— Проверь рацию. С вечера пойдешь. Кого возьмешь в пару? Мысль, что меня отставляют, что и здесь считают ни на что не годным, была невыносима.

— Товарищ капитан, почему же... я просил...

Капитан поежился:

— Тебя? Как, Лобанов?

Тот скользнул по мне безразличным взглядом:

— А пускай. Все равно.

Было два часа ночи, когда мы подползли к речке. Небо затянуло тучами. Черная вода казалась неподвижной. Противоположный берег был бесконечно далек, оттуда не долетало ни звука.

Лобанов долго вглядывался в темноту. Потом проворчал:

— Молчат, стервецы. А сунься, сейчас шпокнут.

Я хотел пошутить над его страхом, но голос мне отказал. Я вдруг ясно понял, что очень боюсь умереть. Мое тело, горячее, живое, через несколько минут перестанет чувствовать. И люди забудут мое лицо, мой голос. И будут жить и слушать тишину этой ночи... Здесь, в темноте, где никто не видел моего лица, когда оставались секунды, в которые еще можно вернуться, я испытал такой всеобъемлющий, животный ужас смерти, что едва сдержал стон.

Лобанов вздохнул, встал и, низко пригнувшись, косолапо ступая, медленно двинулся к воде. Он как-то боком, неуклюже и, как мне показалось, с оглушительным всплеском вошел в речку. В следующее мгновение он исчез в темноте. Я бросился за ним и чуть не сбил с ног — он стоял по колено у самого берега и смотрел на меня. Бесконечно долго шли мы по илистому, вязкому дну. Вода поднималась все выше. Одежда промокла, и сделалось холодно. И уже хотелось, чтобы что-то случилось, чтобы поднялась стрельба — только бы кончилась эта ужасная тишина.

Лобанов выбрался из воды и прилег.

— Ты что, Лобанов?

— Слушаю. Чего лезть на рожон!

«Да он трусит!» — подумал я и тотчас ощутил прилив героизма.

— Вперед! Держись, Лобанов! — И пополз вверх к дереву. Он что-то буркнул и пополз за мной, сопя и задыхаясь.

Дерево оказалось удобным — ветви начинались низко над землей.

Не успели мы устроиться, как неподалеку послышался шум. Человек спускался с откоса. Он скользил, грохоча осypью, чертыхался по-немецки. Сверху кто-то негромко отвечал ему и смеялся. Мы замерли. Гитлеровец шел к дереву. Вот он ухватился за нижнюю ветку, подтянулся... Произошло худшее: враг выбрал для наблюдения то же дерево. Я оглянулся на Лобанова. Он не спеша доставал из-за голенища нож. Едва голова в каске оказалась среди ветвей, Лобанов ударил. Раздался короткий стон. Тело с шумом свалилось вниз. Почти тотчас же послышался взволнованный окрик, другой. Потом длинная автоматная очередь. Взвилась белая ракета. И я на мгновение увидел, как на берегу, почти под нами, мечется несколько фигур в касках.

— Что теперь делать, Лобанов?

Он сидел неподвижно, чернея в ветвях, точно большая ночная птица. Молчал.

— Лобанов! Нас накрыли. Слышишь?

Вокруг нас уже сухо щелкали разрывные пули. Лобанов не отвечал и не шевелился.

— Да ты жив, Лобанов?

— Жив, — наконец протянул он спокойно. — Ничего, авось не заденет.

Но я уже ничего не мог с собой поделывать.

— Лобанов, надо отходить, пока темно.

— Нельзя. Скоро наши пойдут.

— Какое скоро! Еще не светает.

— Да нет, скоро уже.

Он просто ничего не соображает. Сейчас нас убьют. Бесполезно, глупо погибнуть...

— Лобанов! Лобанов!

Он молчал. А выстрелы раздавались все чаще. Начали постреливать и с нашего берега. Вскоре огонь разгорелся по всей линии.

— Наши стреляют, чтобы дать нам отойти. Пока не поздно, Лобанов!

Он молчал. Оставить же его я не мог. Что-то приковывало ме-

ня к нему, что-то гораздо более сильное, чем желание бежать. И это-то и приводило меня в отчаяние.

Действительно, уже можно было различить силуэты фашистов, которые залегли на краю откоса и, очевидно, ждали дня, чтобы расстрелять нас в упор.

Рядом раздался треск, звон и почти тотчас крепкое ругательство Лобанова.

— Что там, Лобанов?

— Рацию разворотило. Эхма, вот влепило...

Я обрадовался:

— Ну вот, теперь нам тут нечего делать.

Лобанов помолчал, потом зашевелился:

— Да, надо ворочаться.

Мы спустились, перешагнули через тело убитого гитлеровца и побежали к воде. Разбитая рация болталась у Лобанова на ремне через плечо.

— Брось ты ее! К чему она?

Он стал прилаживать ее на спину.

— Ну да, потом доказывай, что не бросили исправную...

Мы вошли в воду. Я почувствовал себя в безопасности.

— Ты извини, Лобанов, я там, знаешь, болтал чепуху, мешал...

— Привыкнешь, — сказал он, не оборачиваясь.

И в этот момент фашисты нас заметили. Начался бешеный обстрел. Вода вокруг будто кипела. С нашего берега стали палить минометы. Вдруг Лобанов покачнулся, остановился, как-то странно кренясь на бок. Рация сползла в воду. Я бросился к нему:

— Ранен?

Он медленно с удивлением покачал головой.

— Не должно бы... Погоди, сейчас...

Но тело его все больше кренилось, и я подхватил его в воде. Было уже светло, и я впервые близко увидел его теперь остеклевшие серые глаза, доброе круглое лицо...

И, взвалив его на спину, я медленно, с трудом двинулся к своим.

В меня стреляли. Но мне было уже все равно...

Через два дня мы снова отошли.

Что-то было в этой симфонии, что привело мне на память ночь, когда я учился мужеству. Я не сказал Алене ни слова. Но я знал, она слышит в этой музыке то же. И когда вступили скрипки, я ощутил, как сжалось ее сердце. А потом весь мир вокруг залили страдания. И все-таки в музыке отчаяния не было! А было то самое лобановское тихое упорство, которое вело нас через все муки и смерти и которое означало для нас одно: мы победим!

От леса дул холодный сырой ветер. Пальцы одеревенели, не слушались. Я никак не мог ухватить круглый и белый, как череп, булыжник. Камень выскользнул и с грохотом покатился по насыпи. Я пригнулся. Но не последовало ни окрика, ни лязга затвора. Из-под локтя поглядел назад. Нет, он не заметил, отвернулся от ветра, закуривает.

Мы, сотня русских, строящих эту дорогу, обречены. Когда кто-нибудь окончательно теряет силы и не может работать, его сводят с насыпи, переводят через снежное поле и там, на опушке, убивают. Почти каждый день кого-нибудь. Иногда после выстрела долгий крик, тогда торопливая очередь. Но чаще один короткий сухой удар, и потом гулкое эхо над лесом. И тишина. Не разгибая спины, не оглядываясь, мы продолжаем носить и укладывать камни. Но я считаю каждый выстрел там, на опушке.

Что ни день, становишься слабее. Чувство голода исчезло. Завтра уже не хватит сил поднять камень. Ни дня дольше!

С того мгновения, как я пришел в сознание после контузии и увидел себя за колючей проволокой, я непрестанно думал о Лобанове. Я знаю, как поступил бы он.

Сейчас все решится. Если не промахнусь. Этот носатый, с пустыми глазами — мой. Деревянными шагами, как автомат, марширует он взад и вперед. Вот он возвращается. Осталось двадцать шагов. Я окажусь как раз возле того острого камня. В тот же миг полетят камни и в тех двух... А если не полетят? Если не осмелятся ребята? Всего несколько шагов осталось ему пройти. Беру камень. Только бы хватило сил.

— Бей их, товарищи!

Бесконечная, жуткая тишина, пока фашист стоит, покачиваясь, потом медленно валится на землю. И тогда наконец каменный грохот, как обвал. А оттуда, от поворота дороги, треск автоматов, топот сапог и лающая перекличка:

— Ауф! Ауф! Ауф!..

Вторые сутки мы идем через лес. Нас трое. Гришу, раненного в грудь, несем на шинели. Он хрипит и стонет. На ремне у меня фашистский автомат. И двадцать три патрона в обойме. Идем на восток. К своим. А вокруг лес. И снег. Безмолвие.

Когда спотыкаемся от страшной усталости, кладем Гришу на землю и разводим костер. Тихо вьется дымок. Пепельная белка проносится по веткам. Гриша следит за ней, и взгляд его проясняется.

— Март, ребята. Травой пахнет. Скоро белка порыжеет.

Виктор вынимает из-за пазухи сухарик, всовывает ему в руку:

— Обедай.

Гриша самый старый из нас, ему под тридцать. И у него уже есть дочь.

— Ребята, если я умру, не оставьте дочку. Помогите ей вырасти...

Я не могу этого слышать.

— Брось, Гришка. Скоро выйдем к своим, подлечишься...

Но Виктор, наверное, умнее меня. Или старше.

— Не мешай ему, Алексей.

— Понимаете, ребята... Мать у нее хорошая, жена моя. Очень хорошая. Но ведь она через год, через два выйдет замуж. Пойдет своя жизнь. Она красивая, жена... Дочку не оставьте.

— Будь спокоен, друг, — говорит Виктор.

— Расскажите ей обо мне. Она большая — восемь лет — все поймет, запомнит. И про белочку эту... расскажите... Она городская, не видала таких...

Тут он начинает путать, бормотать, совсем ничего нельзя разобрать. Видно, жар. Мы поднимаем его, идем дальше.

На четвертые сутки пришли в полусожженное, разграбленное село. Из уцелевшей крайней избы быстро вышла маленькая сморщенная старуха в колом стоящем кожухе и здоровенных дырявых валенках и сразу стала кричать:

— Явились! Выставились! Вы бы еще на дорогу вылезли!

Виктор замахал на нее руками:

— Стой, стой, мать, погоди. Ты кто?

— Кто, кто... Тетей Дашей зовут.

— Товарищ у нас раненый, тетя Даша...

— Ага, а я слепая, не вижу! Нет того, чтобы в лесочке темени дожждаться. Фронт же вон рядом! Немец тут сквозь ходит. Куда я с ним днем-то денуся?! Э-эх! Несите в избу, чего смотрите!

Мы внесли его, положили на широкую лавку. Не открывая глаз, он что-то невнятно бормотал. Пальцы его рук слабо шевелились. Старуха всмотрелась, поднесла к губам кружку с водой. Так же, не открывая глаз, Гриша стал пить жадно, с клекотом, содрогаясь при каждом глотке.

Потом она оглянулась на нас:

— Чего стали? Ложитесь в углу. Стемнеет, вон по тому просеку пойдете. Он длинный, не сворачивайте. Как овраг минуете, так тишком, по-за деревьями идите. Немец там близко. К утру на болото выйдете. Переднюете в лесу. А ночью прямо через то болото. Оно не топкое, пройдет. И как раз наши будут.

Я с удивлением смотрел на эту маленькую суетливую старушку.

— Ты откуда все это знаешь, мать?

Она насмешливо сощурилась:

— Первого такого героя провожаю!

— А как же Гриша?

— Ночью бабы придут, в лес отнесем. У нас там погребка накопаны. Да ложитесь вы спать, не суйтесь под ноги!..

Виктор тормошил меня. Луна светила в окно и освещала сгорбленную фигуру старушки. Она сидела возле Гриши, слегка раскачиваясь:

— Спи, сынок, спи, соколик. Набирайся силы. Глянь, скоро снег сойдет, солнышко обогреет. Соку березного напьешься. Встанешь на ноженьки. Пойдешь весело по зеленой травушке. Спи, сынок, спи...

Мы наклонились над Гришей. Он поднял веки. Долгим, серьезным взглядом посмотрел на нас. Виктор до боли сжал мне плечо и твердо сказал:

— Будь спокоен, друг. Вернемся.

Я приехал в Москву на один день. На несколько часов.

И вот эта музыка. Поразительно, что мелодия творит с человеческим сердцем!

Смотрю на Аленку. Она не отрывает глаз от дирижера, чувствует мой взгляд и тихонько кивает и улыбается.

Близится финал. Скоро, скоро все духовые, все смычковые сольются в одну мелодию, светлую и мужественную...

В это время на эстраде происходит нечто необычное. Сзади, из-за оркестра, выходит пожилой человек в черном. Это служитель. Он нагибается к одному оркестранту, к другому, взволнованно жестикулирует и шепчет. Тежимают плечами и продолжают играть. Зачем он мешает? Что-то случилось? Наконец, слышно, как глухие удары вплетаются в могучие звуки финала. Литавры? Взрывы. Взрывы бомб. Фашистские самолеты прорвались к Москве. Воздушная тревога.

Но мелодия финала уже родилась, она сражается, пробиваясь сквозь вой бомб. Теперь музыку заглушить невозможно — она звучит в каждом сердце. Ни один человек не уходит из зала. Разражаются последние аккорды финала. Мы встаем. В громе оваций тонут и бомбежка, и вой сирен, и свистки за окнами. У эстрады Шостакович угловато кланяется, поблескивая круглыми очками.

Я оборачиваюсь к Алене:

— Время мое кончилось. Прощай.

— Я буду ждать тебя, Алеша.

В последний раз оглядываюсь. И все это: гудящий зал, вытекающая из рядов толпа в полушубках и шинелях, она, неподвижная в толпе, не замечающая толчков, с прикованным ко мне взглядом сияющих глаз, — все это навсегда остается в моем сердце.



Года через три после окончания войны, только что защитив диплом, очутился я по делам службы в глухом лесном районе, километрах в пятидесяти от Брянска. Лесничий весь день таскал меня по лесным угольям, и к вечеру я совсем выбился из сил. Стояло жаркое, сухое лето. В лесу от тяжелого запаха разогретой хвои было трудно дышать и кружилась голова. Просыпавшиеся за воротник иголки кололи спину. К лицу липла паутина. В довершение всего спутник мой оказался молчаливым, угрюмым человеком, и за день мы не перемолвились и десятком слов. Иногда лишь, ткнув пальцем в пространство, он безразлично бросал: — Березняк был... За оврагом шел бор... От просеки ельник начинался...

Да, все это было. Сейчас от роскошного, когда-то знаменитого на всю область заповедника осталось немного. Пни. Поваленные, полусгнившие стволы, покрытые ярко-зеленым ноздреватым мхом. Кое-где одиноко высились чудом уцелевшие деревья. Зато кругом, куда глаз хватал, буйная, до пояса трава, густой кустарник да над болотцами словно примятый коварный чакан... Лес, израненный, изувеченный войной, погибал!

Было ясно, что восстановить заповедник невозможно.

Мы вышли на опушку. Повеяло прохладой. Не сговариваясь, мы опустились на землю. По другую сторону поляны над домиками лесничества закурились дымки. Послышались свисты и взвизгивания радионастройки — местный радист ловил станцию. Неподалеку за кустами звонко захлопал бич и донесся неясный говор — пастух разговаривал со стадом. Запахло ночной фиалкой.

Внезапно голос диктора громко и четко произнес: «Начинаем трансляцию концерта из Большого зала Московской консерватории». Здесь, в глуши, рядом с сонным, равнодушным ко всему лесничим это прозвучало точно с другой планеты. И мне так остро захотелось сейчас же уехать в Москву, оказаться в самой гуще взволнованных, празднично настроенных людей, тонких, чутких, интеллигентных. Я уже ощущал себя там, в настороженной тишине зала... Кто-то со сцены объявил: «Композитор Филлиппенко. Квартет «Легенда о героях-партизанах», в четырех частях. Посвящается дважды Герою Советского Союза...»

— Легенда! — вдруг насмешливо пробурчал лесничий. — Еще одна легенда. Мало их навывдумывали...

Для меня, видевшего войну издали, из тихого сибирского городка, имя партизан было озарено романтическим светом, и я оскорбился:

— Выдумка?! Да это же исключительные люди! Они совершали...

— Комаров они кормили, — грубо оборвал меня лесничий.

Я с удивлением поглядел на него. Он сидел, мешковато прислонившись широкой спиной к сосне, расставив колени, угрюмо глядя перед собой. И его скуластое лицо с глубоко сидящими маленькими глазками показалось мне особенно некрасивым и даже гупым. «Как дичают люди в глуши! — подумал я. — А когда-то он был студентом, верно, так же, как я, мечтал о красивой жизни, о полезной деятельности, может быть, любил музыку... И вот итог: животная, однообразная жизнь, с утра до вечера водка...» В тот миг я пожалел, что избрал профессию лесовода, мне показалось, я увидел свое будущее.

Квартет неожиданно начинался певучей, широкой мелодией. Глубокие звуки виолончели были полны скорбного раздумья. Мелодия захватила меня. Раздражение улеглось. Стало жаль лесничего, захотелось, чтобы и он прислушался к музыке. Я снова оглянулся на него и обомлел. Он слушал! Да, он тоже слушал, с невидящими глазами, с неуловимо блуждающей на лице улыбкой.

Он заметил мой взгляд.

— Я встретил их здесь, неподалеку, в этом лесу, — сказал он тихо и покачал головой. — Измучены, разуты, раздеты, изранены... Настоящий мешок устроили им тут. Еще немного, и все полегли бы в болоте...

— Вы их спасли!

Теперь, через много лет вспоминая рассказ лесничего, восстанавливаю отдельные клочки, почти не сцепленные между собой. Музыка порой пропадала, и были слышны только шум леса да тихий хрипловатый голос лесничего.

* * *

«В ту ночь я проснулся оттого, что ветер сорвал с крыши лист железа и катал над головой, как гром. Сперва подумал, танки. Немцы тут по большаку часто ездили. Почти всякий раз останавливались и обшаривали весь дом. Тогда на месте этих хибарок стоял старый помещичий дом. Оставалось нас в нем всего трое: я да старик бухгалтер с женой. Остальные постепенно разбежались кто куда... Спал я в те дни не раздеваясь. Накинул шинель — октябрь уже пошел, ступил на крыльцо и замер.

От луны кругом все бело. Ветер дует, воеет, как из трубы, кружит лист, бурьян. А за оградой стоит женщина в черном платке и смотрит прямо на меня. Я даже и не понял сразу, старая или молодая: лицо белое, а глаза черные, глубокие, как проталины... Замечаю, губы у нее шевелятся, говорит что-то, но ветер... Подошел и слышу такое странное:

— Ты человек? Человек?

— Да, — говорю, — не зверь.

А она все свое:

— Человек ты? — Глаза блестят, руками в ограду вцепилась намертво.

— Да что случилось?

Перегнулась через ограду, прямо в лицо мне шепотом горячим, с отчаянием каким-то:

— Иди зови немцев! Зови! Выдай! Чего стоишь?

С минуту смотрели мы друг другу в глаза, ни слова не говоря, не шевелясь. И что я там разглядел в ее черных, как деготь, глазах? Только слышу собственный голос:

— Что надо делать?

— Под Новой Гутой в болоте люди, обоз... Выведи.

И я пошел за ней, не заходя в дом. Вот так взял и пошел. И не думал, не гадал, что вернусь сюда только после войны, через много лет...

В сентябре фронт неожиданно оказался на востоке от нас. Весь месяц, кроме немцев, мы тут никого не видали. Кто была она? Кто эти люди, которых надо спасти? Почему я пошел?

Новая Гута отсюда километрах в десяти. Шли мы быстро, почти бежали. Но она все приговаривала: скорей, скорей. Часа два пробирались лесом. Ничего она мне не объяснила. Однако ее волнение так меня забрало, что я сам боялся опоздать, чертыхался на каждом повороте дороги. Вдруг впереди, слева так, послышалась стрельба. Не густо, хлоп! — и тихо, хлоп! — и тихо... Остановился сориентироваться. Она с разбегу как налетит на меня.

— Почему встал?

— Слушаю.

— А, — говорит, — перепугался!

Ветер поднялся к самым верхушкам, почти затих. Иногда опомнится, потреплет макушки — отличный там мачтовый лес стоял — и опять замрет. Стоим оба, слушаем. И в этот самый момент рядом филин закричал. Ну, знаете, как он это — точно кошке на хвост наступили. Она схватилась за меня, прижалась. Вся трясется.

— Кто это?

— Леший, — говорю.

Ну и напустилась она на меня! «Сам ты леший! Сова обыкновенная. Испугался, а хорохорится. Леший ты и похож на лешего!» Опомилась...»

Он как-то застенчиво улыбнулся, покачал головой и долго молчал, прислушиваясь то ли к едва слышной музыке, то ли к воспоминаниям своим. Загляделся и я на туман, оседающий над красным кустарником. И ясно увидел эту худенькую черноглазую девушку...

«Стало светать. На опушке встретил нас сивый дед в ватнике, в ушанке — не местный.

— Слушай, — говорит он ей, — учительша, их в самое болото загнали. Деваться некуда. На выбор бьют.

За руку меня схватила:

— Выход есть оттуда?

Я хорошо знал это проклятое обманное болото. Самая глубина и трясина по краям, а дорога через середину.

— Ладно, попробую.

Гляжу, и она за мной. А сама аж шатается. Глаза совсем ввалились, на лице черные пятна. Тут я ей, конечно, очень грубо сказал:

— Вот еще, — говорю, — бабы там не хватало!

Дед поддержал:

— И верно. Не лезь. Здесь покараулим, на большаке, — немец может наперез пойти.

Километра полтора я по болоту шел, пока добрался до них. И вот что я тебе скажу. Много я в жизни повидал, но этого никогда не забуду. Над болотом туман — красный от солнца, будто кровь испаряется. Тут и там в болоте повозки по самые края в воде, в повозках раненые... Лица у них как у смертников. Меж повозок лошади выпряженные, стоят неподвижно, одна совсем под воду ушла, только спина видна. Это они, значит, ночью пытались через болото перейти. Партизаны в камышах по пояс, по шею в воде, отстреливаются. И молчат. Все молчат. Немцы на берегу залегли, бьют не торопясь. Знают, не уйти партизанам. И между выстрелами мертвая тишина над болотом. И этот красный пар... Вижу, парень высокий вышел из камыша, не выдержал. Идет прямо к берегу, стреляет. На смерть идет. Потом руками взмахнул, лицом вперед упал. Голову тянет — жив еще. Но захлебывается, уходит в топь у всех на глазах. Тогда пошел к нему человек в ките, в зеленой фуражке. Ему кричат: «Не подходи, командир, там глубоко, потонешь!»

А он кулак поднял. Лицо каменное. Тихо сказал:

— Своих немцам не оставим!

И вытащил его.

Добрался я до командира, объяснил кто да что... Ну и оттянулись, из-под носа от немцев ушли. Те там на берегу катались от злости, все патроны в воздух выпустили.

Да, видел я, как в лесу хоронили партизаны убитых, как стояли над ними молча, как ровняли, укрывали могилы и уходили не оглядываясь. А потом встретила нас на дороге черноглазая учительша. Подвел к ней командира:

— Вот кто вас вызволил.

Она как глянула на меня, даже прищурилась от злости.

— Спасибо, похвалил!

Командир хмуро посмотрел на нее и сказал:

— Перевязывать умеете? Будете нам медицинской сестрой.

На него-то она не огрызнулась, только попросила:

— Старика тут одного надо забрать, на опушке в дозоре остался.

Ушла за дедом с двумя партизанами. Часа два, а то и все три ждали их. Как увидел ее, лицо ее страшное, все понял. Поймали деда немцы, там же, на опушке, расстреляли.

Уже под утро, на привале, подошел к ней, слышу, она командиру рассказывает:

— Он из того же села, где я в школе работала. Народ там был упорный, и немцы все село сожгли. Старика я вытащила из горячей хаты. И дети его, и внуки — все погибли... Ну, я тоже одна на свете... Вот и пошли мы с ним вдвоем на восток, к своим... Часто по два-три дня ничего не ели. А доставался кусок хлеба — он мне отдавал. «Ешь, — говорит, — я свое отжил. Я, — говорит, — что отмерено человеку, все сполна получил — и горе и радость... А ты, — говорит, — пока еще одного горя на хлебалась...»

Как сейчас вижу, сидит на поваленной осинке, держится прямо, крепится изо всех сил. Командир картуз снял, околышек ладонью протирает. Потом строго так спросил:

— Про нас как узнали?

— Как раз в Новой Гуте отдохнуть остановились, когда у вас бой начался. Местные жители побоялись помочь вам, староста у них лютовал, за каждым следил. Показали мне дорогу в лесничество.

Глядел я на нее, глядел, и сердце у меня защемило. Подошел и, как-то само получилось, по плечу погладил. Замолчала она, а потом, даже не обернувшись, проговорила сквозь зубы:

— Привязался, леший!..

А я не пойму, за что она меня возненавидела?»

В далеком концертном зале наступила гулкая тишина — окончилась первая часть. У микрофона зашелестели нотные страницы на пюпитрах. Кто-то из музыкантов сдержанно откашлялся... Началась вторая часть квартета, тревожная, полная внутреннего напряжения. Лесничий долго слушал.

«Да, — сказал он наконец, — это настоящая музыка. Именно так. Тысячи переходов, похожих один на другой, в жару, в дождь, в мороз. Мухи, голод, цинга. Сто километров через кочки, бурелом, болота, чтобы заложить одну мину... Это была часть большого партизанского соединения, которое в те дни перебазировалось на запад. С ним мы и прошли войну... Я и Галя. Я говорил вам, ее Галей звали? Идет она как солдат, несет свою ношу, не пожалуется. На привалах люди спят, а она раненым подстилки стирает...»

Лесничий, кособочась, встал, погладил чешуйчатый ствол сосны, посмотрел куда-то вверх, усмехнулся.

«Никакого внимания она на меня не обращала. Просто мимо смотрела. Бывало, вернешься с задания в лагерь, пойдешь бродить по кострам, чтобы ее увидеть... Все уж замечать стали. Как завидят меня, так и горланят: «Галя, твой леший идет!» Им развлечение... Она, конечно, услышит такое, и бежать от меня. Но скоро я прекратил это хождение...»

Однажды вернулись мы ночью, как всегда, пошел по лагерю. Сидит! У костра. А рядом командир нашей группы. Подошел к ним сзади, хотел поздороваться. И слышу, командир ей говорит: — Конечно, Галя, время сейчас неподходящее. Но если любишь по-настоящему, на всю жизнь — выходи замуж. Справим партизанскую свадьбу!

Не смог я отойти. Стою как столб. Не хочу слушать, а слышу. И сердце у меня где-то вот тут в горле колотится.

Галя подняла на него глаза — сияли они как два костра! — и улыбнулась ласково, по-детски... Никогда этой улыбки у нее не видел. И покачала головой:

— Нет, нехорошо будет. У других разлука. А тут перед ними два счастливых человека. Остальным на зависть, на мучение... Несправедливо. Нет, нет, терпеть надо.

Строго посмотрел на нее командир и медленно так по голове погладил... У меня даже в пальцах закололо, будто это я приконулся... И говорит:

— Девочка ты моя родная...

Тут уж я побежал. Они, верно, услышали, притихли. А я через кусты, наступил на кого-то, в шалаш к себе, закрылся с головой шинелью. «Господи, — думаю, — только бы никто лица моего не увидел!» Лежу, всю ночь думаю. И все они у меня перед глазами. И все чудится, ходят они по лагерю, вот тут возле шалаша, шепчутся... Ведь он в отцы ей, на двадцать лет старше! А может,

я ослышался, может, ошибся, не так понял? Чего уж! Видел, как он на нее смотрел. И в конце концов, разве не бывает и так? Человек он хороший, любили его в отряде... То так думаю, то так... Истерзался.

В тот самый день, как мы на Днепр вышли, все мои сомнения и кончились. Седьмого ноября днем я в первый раз Днепр увидел. Там, на верховьях, он спокойный, только силу набирает. Подошли к берегу, ждем сигнала. Солнце. Вода сверкает. Над заводями птица. И от простора этого, оттого, что на запад идем, покойно стало у меня на сердце. Смотрю на Днепр, про них думаю: ладно, пусть им счастье будет, они заслужили.

Пошел я нырять возле одной рыбацьеѐ лодки, она в корягах застряла. Осень в сорок третьем году хоть и теплая была, но вода все же студеная... И признаться, мелькает у меня мысль: не грех бы мне и утонуть...

Но условный час наступил — мы широким фронтом Днепр переходили — командир приказ отдает: вперед! И в первой лодке на середину реки выплывает. Вывел и я лодку, гребу вдоль берега за товарищами.

Вдруг от другого берега катерок отчаливает и полным ходом вниз по реке. Немцы! И с кормы ведут по лодке командира пулеметный огонь. Лодка накренилась, раз-другой черпанула... Встал наш командир, покачнулся и спиной, плашмя — за борт. Достали, сволочи!..

Слышу, на нашем берегу крик. Кто-то прыгает ко мне в лодку. Галей! Губы у нее трясутся. «Греби!» — кричит.

Нырнул я. Ребята подоспели. Спасли его. Обе ноги ему очередь прошило.

Как ухаживала она за ним, как не отходила ни днем, ни ночью... Какие уж тут сомнения? Верно?»

Солнце совсем скрылось за крышами, за лесом. Только верхушки деревьев еще розовели. А над нами ветки уже по-ночному чернели, четко рисуясь на потухающем небе. Радист потерял Москву. Заговорили птицы. Сначала по одной. Потом сразу хором, наперебой. Внезапно в это верещание ворвались тревожные и веселые звуки украинского напева. И лесничий, присев на корточки, ударил меня по плечу, и глаза его заискрились.

«Слышишь? Украина! Ага! На той Украине и нам с Галей выпало немного радости! Далеко отсюда, в Карпатах...

Карпаты, Карпаты! Ну и народ же там живет! Рядом немцы. Кругом стрельба. А они как только где соберутся, так — знай наших! — поют себе и поют свои песни.

Заночевали мы как-то в одном горном селе. Днем мы там неподалеку вышки нефтяные жгли. Гитлеровцам без нефти смерть. И гонялись они за нами как скаженные. Но крестьяне нам помогали. И проводниками были, и помощниками. В тот вечер собралось все село под огромными столетними дубами. Кругом в горах кострами нефтяные вышки полыхают. Зарево над Карпатами. Слышно, самолеты немецкие носятся. А тут и молодежь и старики песни поют.

Как это я оказался рядом с Галей? Слышу, и она подпевает. Впервые узнал, что поет. Поет! И плечами поводит. И точно вся светится радостью.

Не я один заметил. Подошел командир, поглядел на нее.

— Галя, Галя, жива Украина!

И рассмеялась она легко, счастливо, как никогда раньше. Вот тут схватил вдруг меня за руку командир, рванул к себе и чуть не во весь голос:

— Да женитесь вы наконец, черти полосатые! Ведь сохнете оба. Хоть раз в жизни кумом бываю!

Хочет. А в глазах мука смертная. Да, любил ее командир. Любил! И сколько он из-за меня перенес — это я один понимаю.

Как я очутился рядом с ней за деревом не помню. Где-то там, на поляне, пели, шутили, кричали. А мы с ней были одни.

— Галя!.. Галя!..

— Ну, что ты все повторяешь... Леший!

А я все свое, дурак: Галя и Галя!

— А раньше ты видел, понимал?

— Нет, нет, ничего не видел, не понимал. Ох, Галя, Галя!

— Я и не хотела, чтобы ты заметил. Одному командиру призналась. Он все понял.

Помолчала. Подняла на меня глаза свои:

— А ты слышишь, что они там поют? Слышишь? «Щеглик оженился». Смешная песня...

Не знаю, как можно теперь в это поверить и как рассказать? В ту ночь для меня войны не было. Мы все знали, что утром придется принять бой. Готовились, чистили оружие. Женщины и дети из села уходили в лес. Мужчины присоединялись к нам, приносили свои берданки, древние трехлинейки. То и дело от соседних групп нашего соединения приходили связные. Командир всю ночь был на ногах, обходил подразделения. Возле обоза хлопотала Галя, укладывала раненых. Готовили носилки на случай, если придется бросить повозки. Во всем этом участвовал и я, но участвовал машинально, будто делал что-то не имеющее ко мне отношения. А в голове все звучали украинские напевы, ее тихий смех... Один раз она прошла мимо меня, торопливо, к штабной хате. Остановилась. Положила мне ладонь на шею. Мягкую, теп-

лую, тоненькую ладонь... Как будто поцеловала... Один-единственный раз.

Даже утром, когда раздались первые выстрелы, у меня осталось это чувство — чувство ее присутствия. Она была за нами, с ранеными. Мы лежали на краю узкой горной дороги, по которой немцы должны были подниматься, и не отводили от нее глаз. На другом конце села уже шел бой. За нашими спинами началось движение, заскрипели повозки. Но я всегда знал, где Галя. Странно. Я и теперь не понимаю, как это могло быть.

На соседнем склоне показались белые дымки — там уже начали стрелять. Значит, скоро и наш черед.

Немцы появились неожиданно и совсем не на дороге. Они ползли по всему склону. Их было множество. Наверное, горные части. Нас было меньше. Крестьяне, молодцы, не падали духом. То справа, то слева от меня высывалась голова в смушковой шапке. Парень оглушительно палил из дедовской винтовки и, свесившись вниз, высматривал, попал или промазал.

То, чтозади, в тылу у нас, плохо, я почувал сразу, еще до того, как наши там пошли в контратаку. Гляжу, мимо, пригибаясь, старик бежит.

— Что там, — кричу, — с той стороны что?

— А ничего, воюем.

Но я уже знаю, что беда. Слышу голос командира:

— Раненых на носилки! Всем прикрывать раненых!

Вот тут я услышал ее стон. Мне все потом говорили, что я не мог слышать... А я слышал! Говорю вам, я слышал! Я побежал прямо туда, где знал — она. Ну что... Возле повозки ее... Под ключицу... Вот здесь... И сейчас мне кажется, прибеги я к ней секундой раньше...»

Он не договорил, махнул рукой. Вокруг разливался уже зеленоватый сумрак. Скуластое лицо его с мохнатыми бровями казалось землястым и точно окаменело. Возле лесничества перекликались чьи-то голоса. Музыка звучала еле слышно, замирая в отдалении. Но он услышал.

— Играют еще, — сказал он тихо.

— А потом? Как сложилось у вас?

Он прерывисто вздохнул, медленно пошел к лесничеству.

— Как у всех... Вернулся домой... Сюда вот вернулся... — Вдруг озоновилась и, глядя на меня в упор, сказал: — Вернулся сюда восстановить этот лес! Восстановить. Лес, в котором мы когда-то... И до тех пор я отсюда не уеду!

Машина уже ждала меня. Прощаясь, я крепко пожал ему руку.



ПОДОРВАТЬ ЭШЕЛОН

Июльское солнце в зените — жарит вовсю, и даже под раскидистыми соснами нет тени, нет прохлады. Хвоя сыплется за воротник, прилипает к потной коже Митя поднял голову от земли, повертел шеей. Базанов, протянув руку назад, прижал его к земле.

Человек, за которым они следили, медленно шел через лес, ничего не замечая. Он стар, устал, еле волочит ноги, обутые в порыжелые растоптанные сапоги. Тоший мешок то и дело сползает с плеча, и он на ходу спиной подбрасывает его на место. Но вот он остановился, не распрямляясь, прислушался.

Женский голос звал издалека:

— Ага-га-га!..

Человек ответил. Свалил мешок на землю. Присел на пень. Свернул сигарку, жадно затянулся. Послышался хруст — кто-то протирался сквозь кустарник.

Ей было не больше двадцати. Тяжелый узел русых волос, нежная линия щеки, тонкая детская шейка и грубый отцовский пиджак, грубые не по мерке сапоги.

Человек хмуро смотрел на нее:

— Сколько раз тебе говорить, не ходи по лесу одна...

— Долго ты очень... Все глаза проглядела!

— Долго, долго... Хутора обойти, в каждую дверь постучаться...

— Обменял?

— Дали кое-что... А встретиться тебе кто? Народ одичал!

— Господи, как фронт ушел, год уже в лесу никого.

— Много ты знаешь! Говорят, немцы будут дорогу восстанавливать. Понаедут...

— Назначат они тебя обходчиком?

— Кто знает...

Они замолчали, задумались о чем-то.

— Отец, вернутся когда-нибудь наши?..

— Когда-нибудь...

— Да, приезжал твой любимый Федор Лукнич! — Она сощурилась, и лицо ее сразу сделалось старым и злым. — Не дождался тебя, уехал.

— Что рассказывал? Как в городе?

- А ничего. Немцы. Не терплю, когда он приезжает, а тебя нет.
- Напрасно ты, Маша. Добрый человек. Железнодорожник. Отца его знал.
- Ну и пускай! Мне-то что.
- А то, что можешь остаться одна в такое время. Без помощи, без защиты. Сколько я еще проживу?
- Перестань!
- Совсем стар стал. Вот до сих пор не отдышусь... Выходи за него, Маша.
- Она улыbnулась и снова стала девчонкой.
- Что ты? Жили с тобой и проживем. Устал ты... Вернутся наши, отдохнешь. Помнишь, мать все мечтала, чтоб ты ульи поставил. Ну, будешь мед собирать. — Она тронула его за плечо. — На учительницу выучусь, заработаем, Москву поедем смотреть. А?
- Он продолжал хмуро смотреть в землю.
- Говорят, сильно Москву бомбили... Федор Лукич обещал еще заехать?
- Обещал, обещал. Давай-ка мешок!
- Донесу.
- Давай, давай! Тяжелый! Хлеб?
- Он кивнул, улыbnулся.
- Хлебушек!
- Она с неожиданной легкостью вскинула за спину мешок и, не сгибаясь, пошла вперед.
- Проводив их глазами, Базанов обернулся к Мите:
- Понятно?
- Митя сдвинул на лоб пилотку, поскреб макушку.
- Местное население, товарищ старший лейтенант!
- Ну?
- Что «ну»? Повезло этому Федору Лукичу — такая невеста!
- Слыхал, немцы дорогу будут восстанавливать! Все совпадает. Вот что! А ты — «невеста»!
- Базанов приподнялся, прислушался, огляделся по сторонам, встал.
- Видно, дом его где-то тут недалеко.
- Митя перевернулся на спину, загляделся на белое от зноя небо, сладко зевнул.
- Старший, давай другое место для лагеря искать. А то вот видишь, ходит тут, да еще с дочкой...
- Другого места нет: слева болото, справа болото... Единственный подход к железной дороге...
- Базанов присел на корточки, вытащил из планшета карту, стал сверяться. Решительно сказал:
- Собирай хворост, запалим костер. Здесь будем устраиваться.

С хворостом в лесу происходили странные вещи: там, где собирал Базанов, сухие ветки попадались кучами на каждом шагу, у Мити же под ногами сплошь мокрая гниль. Митя даже разозлился:

— А ты хитрец, Базанов! Выбрал себе сухое место!

Но стоило им поменяться местами, и сухие ветки мгновенно снова полезли в руки Базанову, а под ногами у Мити все та же мокрая гниль.

— Слушай, Базанов, ты уже все выбрал. Вчера же дождь прошел...

— Найдешь! — жестко сказал Базанов, укладывая пирамидку для костра.

Митя притащил охапку сырого хвороста.

— Подумать, неделю назад ходил в Москве по Арбату, а сегодня за тысячу километров в лесу... Хворост... Романтика!

Базанов молча выбросил всю принесенную Митей охапку и так же молча уставился на него. Митя жалобно улыбнулся и снова отправился за хворостом.

Над пирамидкой закурился дымок. Базанов пригнулся, слегка подул, и огонь разом ладно охватил пирамидку, весело затрещал.

Сражаясь со встречными кустами, Митя прорывался с уродливой, подагрической осиной. Подтянул ее к костру, сунул комлем в огонь, деловито отер руки.

— Пусть горит! — И с опаской поглядел на Базанова. Ободренный его молчанием, мечтательно заговорил: — А симпатичная девушка! Хотел бы я влюбиться в местную. Мне эти городские ох как надоели!..

— А тебе сколько лет стукнуло? — спросил Базанов, продолжая ладить костер.

— Мне? А что? Двадцать.

— Точно?

— Неполных.

— А точнее?

— Ну восемнадцать. С хвостиком, учти! — И, обидевшись не то на вопрос Базанова, не то на свой возраст, сердито выпалил: — А ты рохля!

Базанов с любопытством взглянул на него.

— Да, да. Это не я говорю, люди попытнее говорят.

— Сочнев?

— Он. Только не передавай ему, что я сплетничал... Хотя говори, мне все равно!

— А тебе я тоже не нравлюсь?

— А что! — с отчаянной решимостью проговорил Митя. — Все думали, его командир старшим в группе поставит. Хотя он и лейтенант. Зато огонь! Не обижась?

Базанов пожал плечами.

— Обижаюсь.

Мите сделалось его жалко и захотелось утешить.

— А знаешь, может, это и правильно, с такой задачей, как нам дали, твой характер вполне сочетается — сидеть ждать, когда немцы починят дорогу, чтобы потом взорвать какой-то эшелончик и смотаться... Нет, я не к тому, что... Я к тому, что... — Митя густо покраснел.

Но в этот момент далеко в лесу показалась статная фигура Сочнева, в черной кубанке с красной лентой наискосок, с черным чубом над темными живыми глазами. Он шагал широко, не таясь. Оглядываясь назад, кричал:

— Очерет, давай всех сюда!

И оттуда, из глубины леса, кто-то отвечал с сильным украинским акцентом:

— В одну мить, товарищ лейтенант!

Рядом с Сочневым Базанов, со своей приземистой, мешковатой фигурой, с походкой вразвалочку, с привычкой держать голову набок, отчего казалось, что он всегда просит извинить его, с тихим голосом, проигрывал по всем статьям. Сочнев, поглядывая на него сверху вниз, посмеиваясь одними глазами, говорил особенно почтительно. И эта почтительность, видимо, была Базанову неприятна. Неприязненно глядя на пряжку трофейного пояса с орлом и свастикой, Базанов сухо отдавал распоряжения:

— Схожу на железку, сориентируюсь — останешься за меня.

— Само собой.

— Посты расставь сразу.

— Ясно.

— Один поставь с севера, — он показал на карте, — а другой...

— Минуточку, товарищ старший лейтенант! — прервал его Сочнев и не взглянув на карту. — Можно попросить попроще — на местности?

Базанов, не поднимая глаз, свертывая карту, коротко сказал:

— Один — со стороны хутора, другой — со стороны железной дороги.

— Человеческий разговор! А то карты, бумажки... Штабная канитель! А разведчик как действует? Если рядом начальство, он и в карту позиркает, и компасом покрутит. А потом выйдет на дорогу и у первой встречной бабки расспросит, куда идти. И порядок! — И он оглушительно захохотал, оглядываясь на Митю.

Базанов с невозмутимым лицом выждал, пока он отсмеется.

— И потише, обстановка неизвестна.

Он передвинул на грудь автомат и, не оглядываясь, вперевалочку пошел через лес.

А с противоположной стороны уже подходила группа — впе-

реди Очерет, огромного роста, с пышными усами на мальчишеском лице, за ним шли две девушки с громоздкими рациями за плечами, далее следовали остальные — всего в группе было двенадцать человек. Вот худощавый парень на журавлиных ногах устроился у костра, стал выкладывать коробочки и пакетики из брезентовой сумки с красным крестом. Кто-то, звякая котелком, побежал искать воду. Двое стали помогать Мите собирать хворост. Сочнев, в центре, широко расставив ноги и выгибая грудь, с удовольствием командовал во весь голос:

— Располагайся! Разговор шепотом! Харч на стол! Шевелись!

Когда Митя принес к костру очередную охапку хвороста, он поразился, как этот уголок леса, еще минуту назад дремучий, враждебный, полный угроз, сразу стал своим, домашним от этой человеческой суеты, негромких разговоров, от веселого покрикивания и понукания Сочнева. Мите ужасно нравились эти первые минуты привалов и устройства коротких стоянок, и то, что за полдня успеваешь привязаться к какой-нибудь корявой сосне, между корнями которой так удобно сидеть и чистить автомат, или к затянутому ряской бочажку, в котором полоскал портянки и потом, пока они сохли на солнце, любовался золотистыми искорками на зернистой темно-зеленой пленке, застывшей на поверхности воды. Потом он вспоминал привалы и стоянки по этой сосне, по бочажку, по невысокому холмику, поросшему орешником... Вспоминал всю жизнь.

Красное, закатное солнце зажгло два окошечка в маленьком домике обходчика, окрасило крылечко, низкую дощатую дверь. Дверь открылась, выглянул старик обходчик. Прислушался.

Издали, со стороны города, еле слышно доносилась нечастая винтовочная стрельба. Старик покачал головой:

— Опять! Слышишь, Маша? Облава там, что ли...

Вытирая руки передником, рядом с ним на пороге встала Маша. Теперь, в белой блузке с высоко подвернутыми рукавами, она казалась совсем девчонкой.

Оба замерли.

— И не думай из дому выходить, Маша!

— Белье ж надо развесить...

— Иди, иди. Сам сделаю.

Через минуту он вышел, неся таз с бельем. Стал вешать за домом.

В комнате Маша прильнула к окну — ей было страшно за отца. Далекая стрельба продолжалась. Вдруг скрипнула дверь.

Она, вздрогнув, обернулась. На нее пристально смотрел человек в форме советского офицера, с автоматом в руках.

— Есть еще кто-нибудь в доме? — тихо спросил он.

В горле у нее разом пересохло. Она отрицательно покачала головой.

— А немцев поблизости нет?

Она снова покачала головой.

— Господи! — сказала она наконец. — Откуда вы?

Он наклонил голову набок, виновато улыбнулся.

— Окруженец. По селам мотаюсь. Кто пожалует, подкормит.

— Я сейчас... Картошка сварена...

— Спасибо, пока сыт. А подопрет — приду. Ладно?

Вдруг она насторожилась.

— Мотаетесь, а гимнастерка новенькая!

Он попытался отшутиться:

— Немцы со склада выдали!

Но она уже замкнулась: смотрела подозрительно и отчужденно.

— Не слыхали, когда немцы будут дорогу восстанавливать?

— А мы ничего не знаем.

— В каком месте разрушен путь? Далеко отсюда?

— Ничего мы не знаем.

— Как же так, ведь ваш отец — путевой обходчик!

— Если все знаете, зачем спрашиваете?

Теперь она ему совсем не верила. И он решил на хитрость.

— А Федор Лукич говорил: хорошие люди, иди к ним, как к своим.

Она окаменела. Даже дышать перестала.

— Не хотите говорить! Гитлеру помогаете?

Она неожиданно заплакала, беззвучно, не сводя с него мокрых глаз. Потом зашептала горячо и сбивчиво:

— Наши! Год целый! Там внизу мост взорван. Там будут ремонтировать. Скоро. Как же Федор Лукич? Никогда ни словом! За что?

Он нахмурился.

— Ну и вы ему ни полслова. О таких делах не разговаривают! Даже с родным отцом!

И он ушел, коротко и буднично кивнув. А она долго не могла отвести глаз от порога, где только что стоял советский офицер, с тремя квадратами на петлицах, с автоматом на груди. И это было как сон.

Вернулся отец.

— Ну и музыка...

— Что?!

— Все еще стреляют... Господи, кто-то там мұку принимает!

Освободи стол, Маша, табачку покрошу. Спасибо, габачку люди дали... — Он уселся за стол, стал рубить ножом табак. — Ох-хо-хо!.. Пошла бы за Федора Лукича, Маша, я б тут спокойно пере- сидел, видишь, люди не оставляют... Что молчишь, Маша?

— Думаю.

— Думай, дочка, думай. Он человек осторожный, со всеми в ладу. На вокзале служба спокойная, сытая. С ним не про- падешь.

— Может быть, может быть...

Что-то новое, радостное было в ее тоне. Старик внимательно поглядел на нее, вздохнул:

— Слава тебе, господи!

Ночью после дождя в лесу партизану неуютно: холодно и сыро. Ляжешь у костра — один бок греется, другой стынет. Уснешь — совсем замерзнешь. Да и тревожно в первую ночь в незнакомом лесу. Так и проворочаешься всю ночь. А то еще нужно поправить впросонках костер, сменить товарища на посту...

Всю ночь в лагере слышались шорохи, тихие разговоры, дви- жение.

У рации возились девушки Соня и Вера — утром нужно выходить на связь. Подсвечивая фонариками, они что-то ладили, подкручивали. Переговаривались.

— Интересно, будем мы когда-нибудь воевать? — сказала Соня.

Голос у нее низкий, с хрипотцой. Фонарик подсветил коротко, под мальчишку остриженные золотистые волосы, безбровое лицо со вздернутым носиком.

— Радистам все равно не придется как другим. Нас будут охранять и прятать. — У Веры голосок певучий и вкрадчивый. Черные волосы до плеч. И раскосые глаза загадочны — никогда не поймешь, что у нее на уме.

— Иждивенки мы! Прогивно, — не унималась Соня.

— Каждому свое. Мы женщины.

— Жалею, что родилась бабой! Одни юбки чего стоят! И всем обуза.

— Тебе девятнадцать стукнуло, а рассуждаешь как ребенок. Женщина в армии — сила.

— Знаю я эту силу — чужих мужей отбивать!

— Во-первых, в армии не одни мужья. А во-вторых, ты зна- ешь, что женщина может заставить мужчину совершить такой подвиг — все ахнут!

— А если у него жена дома?

— Польши холостого.

— Перестань болтать!

— Ой, взорвешься! — Вера тихо засмеялась. — А вот ты увидишь, Сонька, какой подвиг ради меня совершит один человек. Увидишь!

— Ну и очень хорошо, — проворчала Соня, — и ложись спать. У тебя сеанс скоро.

— Не хочется спать...

— Рука будет дрожать.

Девушки стали укладываться, кутаясь в короткие телогрейки. Лейтенант Сочнев бродил по ночному лагерю. За ним как тень Гриць Очерет. Не спалось Сочневу, он ощущал на себе почетный груз ответственности командира, пусть временно, пусть только на эту ночь, пока не вернулся с железной дороги Базанов, но все равно от этого груза радостно частило сердце, в голове была легкая ясность, и один за другим возникали дерзновенные планы...

— Гриць, кто это там под деревом окопался?

— Фельдшер Птицын.

— Целый блиндаж! Ну, герои!.. Где Митя?

— Та била костра ж. Бачьте, сунув ноги в огонь — сапоги аж дымятся!.. И спать як немовлятко якесь...

— Оттащи его подальше от огня... Набрал Базанов детей в группу! Я так понимаю: или грудь в крестах, или голова в кустах. Верно?

— Точно, товарищ лейтенант.

— А с кем тут воевать?.. — Он глубоко вздохнул. — Пошли Мирского на пост — время!

На посту, куда Мирский пришел сменить Груздева, черные тени и лунные блики неподвижны до одурения и вязкая тишина оглушает, здесь всегда особенно хочется спать.

— Иди к костру отдыхать, Груздев, озябнешь.

— Не хочется. — Груздев сладко зевнул. — На посту вдвоем веселее.

Мирский устроился рядом с ним, подтянул колени к подбородку и стал бороться с дремотой. Тишина. Мирский покосился на притихшего Груздева, с надеждой спросил:

— Не спишь?

Тот невразумительно хмыкнул. Мирский совершил над собой некоторое насилие и воспринял это как согласие поговорить.

— Ты кто был до войны?

— Биолог, — не сразу ответил Груздев, не открывая глаз.

— Дарвин... Брем... Детство! Женат?

— Ага.

Мирский задумался и упустил какое-то мгновение — Груздев уже захрапел. Мирский ухватился за последний шанс:

— Счастлив?

— Ммм...

— Я спрашиваю, с женой счастлив?

Это произвело неожиданное действие: Груздев сел и ответил свежим и бодрым голосом:

— Она меня любит.

— Хорошая!

— Красивая.

— Что заставляет молодых ребят вроде нас с тобой прыгать с парашютом в тыл, скрываться в лесу, взрывать поезда?

— Если тебя хватают за горло, так ты не задаешь вопросов, а даешь в зубы!

— Ну, да, да, благо тому народу и так далее. Еще Толстой сказал. Непротивленец Толстой! Вот и мы с тобой... Ведь это странно. Ударить! Убить! Противоестественно. А сейчас мне это представляется самым прекрасным, святым... Подумай, во время войны люди делают то, что им совершенно не свойственно. Ты чем занимался в биологии?

— Разведением окуня.

— Вот видишь! — Мирский пришел в восторг. — Разведением окуня! Ведь это жизни! А в газетах, когда пишут о том, что защищает наш солдат, вечно про одни березки... Белые березки, кудрявые березки... А я вот вырос в степном местечке и, пока не поехал в Москву в институт, порядочной березы не видел. Знаешь, Груздев, я мечтаю написать книжку о нашей войне. Пусть у меня не хватит таланта, чтобы как Толстой. Но чтобы правда была. Чтобы там было все наше самое сокровенное... — Мирский даже задохнулся от этого признания. Мечту эту — мечту стать писателем — он ревниво скрывал от всех. И вдруг так сразу сказал человеку, с которым знаком две недели, о котором почти ничего не знает.

Груздев очень долго молчал. Потом задумчиво сказал:

— Человека трудно понять.

— Окуня легче?

— Мы с женой разные люди, вот в чем дело. — Груздев снова улеся, съезжился. — Сова кричит... Ей хорошо кричать, весь день дрыхнет...

— На мою плащ-палатку, завернись.

Груздев закутался в плащ-палатку, подобрал под себя углы, затаил. Мирский с волнением ожидал от него дальнейших признаний, ему казалось, что сейчас приоткроется ему нечто удивительное в душе Груздева. Но Груздев только попросил сонным голосом:

— Ну-ка давай на ночь стиховину какую-нибудь...

Мирский, который в тот год был влюблен в Багрицкого, начал с воодушевлением:

*Я в этот день по улице иду...
На крыши глядя и стихи читая.
В глазах рябит от солнца, и кружится
Беспутная, хмельная голова...*

Но тут Груздев снова захрапел. Мирский вздохнул и продолжал читать стихи для одного себя, беззвучно.

Сочнев подошел к радисткам. Вера подняла голову.

— Товарищ лейтенант, не мешайте спать.

— Так я думал...

— Думать не ваше призвание. Какая холодная ночь!..

Сочнев рванул с плеча куртку

— Прикройте ноги — согреетесь.

— Это все, что вы можете предложить?!

— А чего вам хочется?

— Глоток вина!

— Где ж взять?

— А я и так знаю, что вы из-под земли не достанете! — Смесь, она спрятала голову под телогрейку и что-то прошептала Соне, они обе прыснули.

Через несколько минут Сочнев, разбудив Митю, распорядился:

— Дуй по-пластунски к фельдшеру, бери фляжку со спиртом — только чтоб не разбудить! Всем выдать по сто грамм. Понял?

— Ты же помнишь, перед нашим выходом сюда товарищ комиссар предупреждал...

— Разговорчики! — Сочнев презрительно усмехнулся. — Утром, может, бой! А вы тут собственной тени боитесь! К тому же... люди замерзли...

Митя в растерянности оглянулся и увидел расплывшуюся физиономию Очерета.

— Не лякайся, Митя! Сто граммов! О це командир! Отец ридный! Митя, ты мужик або баба?

Последнее замечание окончательно лишило Митю мужества, и он пополз к спящему Птицыну за фляжкой.

Первые сто граммов Сочнев поднес Мите, как герою торжества. Митя ухарски выпил залпом, выпучил глаза и угрожающе посинел. Наконец он перевел дыхание, жалко улыбнулся и закричал:

— Гитлер капут! Ура-а!..

— Гуляй. Митя! Вместе будем фрицев бить, вместе водку пить! Разбудить медицину! Поднести медицине!

Митя подполз к Птицыну и залаял у него над ухом. Тот вскопчил, схватился за маузер.

Очерет радостно завопил:

— Бережись! Медицина клизму заряжает!

С поста прибежал Мирский:

— Товарищ лейтенант, на посту очень слышен шум в лагере.

— Ну и что? Ты на посту?

— На посту.

— Ну и стой. Привыкли прятаться. Пускай Гитлер от нас прячется!

— Что тут у вас происходит? — удивился Птицын.

Сочнев подмигнул окружающим:

— Ребята в лесу трофейную водку нашли... Митя, поднеси ему.

— Вот здорово! — Птицын потер руки, причмокнул и с аппетитом выпил. — Хорошо! А то озяб...

— Ну как?

Птицын щелкнул пальцами.

— Градусов пятьдесят, шестьдесят...

Очерет аж застонал:

— Ой, не могу!.. Признав свояка!..

Птицын с подозрением оглядел хохочущих товарищей:

— Откуда здесь в лесу водка?

— Из-под земли достали! — громко сказал Сочнев, чтобы все слышали. — По желанию одной принцессы. Сейчас и ей поднесем...

— Моя фляжка! Свинство! Как не стыдно! Хамство!

— Сам же пил, — засмеялся Сочнев.

— Командиру отряда доложу! В Москву! Вернемся с операции — под суд!

Сочнев поскущел:

— Ладно, брось.

Но Птицын рассвирепел:

— Брось?! А тебя ранят, чем раны обработаю? Куда скальпель положу?

— Клади куда хочешь. Вот еще...

— Та шо ты, Птица? В армии всегда медицинский спирт пьют! — успокаивал его Очерет. — Батько, дозвошь заспивать?

Сочнев картинно развалился у пня:

— Давай «Галю».

Но только Гриць затянул «Ой ты Галю, Галю молодая...», рядом с ним неожиданно появился Базанов. Он устал, взмок, фуражка сдвинута на затылок, на коленях глина — видно, немало поползал у насыпи.

— В чем дело? — тихо спросил он.

— Входим в спортивную форму! — Сочнев попытался незаметно принять более скромную позу. — Митя, поднеси командиру!

— Пстой! — так же спокойно сказал Базанов и отвел Сочневу в сторону. — Откуда водка?

Сочнев попытался острить:

— Партизан водку из дуба выдоит!

— Серьезно спрашиваю.

— Ну, у фельдшера было.

— Он сам дал?

— Какая разница! Сашка, делов-то!.. Трахнем по сто грамм.

— Лейтенант Сочнев, кто взял у фельдшера спирт?

— Я велел.

— В другой раз за это расстреляю! — мягко сказал Базанов, поглядывая на Сочневу снизу вверх с виноватой улыбкой, будто заранее прося извинения за то, что непременно это делает.

И Сочнев сорвался:

— Стреляй сейчас! Стреляй перед строем! Пока ты в Москве отсиживался, я тут полгода фрицев бил! И ты меня учить хочешь? Они до Волги дошли, а мы должны под кустом сидеть молчать в тряпочку?!

— У нас есть задание.

— С кем ты его выполнять будешь? Народ надо спаять, сплавить...

— Водкой?

— Да, и водкой. Не барышни.

Сочнев еще пыжился и кричал, но разговор уже кончился.

Базанов махнул рукой:

— Распорядись оставшийся спирт отдать фельдшеру. И немедленно.

— Иди к черту!

Не обратив на это никакого внимания, Базанов стал устраниваться у костра.

— Посплю маленько, а то умаялся... На уклоне там местечко весьма удобное... Через два часа разбуди, Сочнев.

Когда Митя подошел к Сочневу, тот все еще стоял возле Базанова и сосредоточенно рассматривал верхушки сосен, покачивающиеся в светлеющем небе.

— Товарищ лейтенант, вот для Базанова порция...

— Нам потребуется спирт... для одного дела... — сказал Сочнев, не оборачиваясь. — Собери все, что осталось.

— Полфляжки еще есть. А ребята настроились... И ты же сказал...

— А теперь кто говорит, не я, что ли? — внезапно заорал Сочнев на Митю так, что тот даже попятился. — И отдай фельдшеру, пусть подавится! Выполняй!

Митя исчез. К Сочневу подошла Вера. Сочнева всегда пора-

жало, что ни бессонница, ни усталость не стирали с ее белого лица свежести.

— С добрым утром, лейтенант, спасибо за ватничек, а я все ждала шампанского из-под земли.

— Дождешься тут, — пробурчал Сочнев.

— Бедной птичке подрезали крылышки!

Только сейчас понял Сочнев, что Вера смеется над ним.

— А я, между прочим, вас не вызывал, товарищ радист.

— Разрешите идти?

— Пожалуйста.

...Несколько дней жизнь в лагере протекала спокойно. Люди ходили в ближнюю разведку к разрушенному мосту. Базанов дважды виделся с Машей. Новостей все не было.

Но вот как-то утром в село рядом с мостом вошла немецкая военная строительная часть. Гитлеровцы доставили строительную технику, мобилизовали жителей, начался спешный ремонт дороги.

Тревожно сделалось и в домике обходчика — все чаще за окнами слышалась немецкая речь. Несколько раз дом тщательно осматривали, почти обыскивали. Впервые Маша ждала приезда Федора Лукича с нетерпением.

Федор Лукич приехал. Вошел в комнату, как всегда робея. Остановился у порога, снял кепку, пригладил и так гладко прилизанные светлые и редкие волосы.

Маша торопливо шла ему навстречу из своей комнатки, приветливо и радостно улыбаясь.

— Наконец-то! А я уже заждалась! И как раз к обеду. А то слышим, в городе стрельба, господа, думаю, как вы...

Федор Лукич даже оглянулся на дверь — не стоит ли там кто другой. Но нет, и улыбка, и тревога, и привет — все было ему! И, прижимая обеими руками к груди кепку, не в силах сдержать улыбку, он проговорил дрожащим голосом:

— А я... я там плетень... в одном месте... повалился... Подвяжу! — И выбежал стремглав из дому.

Через полчаса он, вымазанный, запыхавшийся, радостно заглянул с крыльца в дом, улыбнулся Маше, хлопчущей у плиты.

— Плетень сделал. Все развалилось! Все прахом... Ай-яй-яй!..

Маша засуетилась.

— Господа, новый костюм! Сейчас щетку принесу. Довольно, Федор Лукич, все хорошо. Вы и не отдохнули с дороги.

Он присел на скамейке возле плиты, почти касаясь плечом ее локтя.

— Еще бы жердочку подвязать... Огородик и так махонький, последнее вытопчут... — Он вспомнил о коробке конфет, которую выменял для Маши, торжественно выложил на стол. — Это вам, Марья Владимировна. Австрийские. Ешьте, я прошу вас.

Маша не ответила. Федор Лукич поднял глаза и увидел, что она стоит выпрямившись, опустив обе руки, и пристально смотрит на него.

— Федор Лукич, простите, если я когда-нибудь обижала вас. Думала: живет человек и ни до чего ему дела нет.

— Марья Владимировна... Маша... Ни до чего? Я только о вас...

— Погодите, я скажу. За все это время, за полгода, что вы ездите к нам, сегодня я в первый раз по-настоящему вам рада.

Федор Лукич встал, отошел на несколько шагов, точно желая лучше увидеть ее всю.

— Маша, если б вы знали... Я неверующий, но я молился, чтобы вы... Чтоб хоть немного меня.. ко мне... Господи!

Маша слабо улыбнулась:

— И уверовали?

— Сейчас! Сию минуту уверовал.

— Я к вам... Я вас даже... Ну, я вас не любила. Простите.

— Говорите.

— Я вас не знала, принимала за другого. А семья — это и общие мысли, и общее дело... Федор Лукич, я глубоко уважаю вас за то, что вы сейчас делаете.

— Вы согласны! Машенька, вы меня полюбите! Честное слово, полюбите! Я не знаю, как вам обещать... как объяснить...

— Я буду вам женой и товарищем.

— Есть бог! Есть бог!

— Я хочу участвовать во всем, что вы делаете.

— Конечно, конечно, — заторопился Федор Лукич. Ему показалось, что он сейчас проснется, или случится землетрясение, или откуда-то прилетит бомба и взорвется. — Скажем скорее отцу. Обрадуем его, Маша!

Она все еще не двигалась с места.

— Скажем. Я хочу делить с вами и радости и горести. Знайте!

— У меня одна забота — оградить вас от всех горестей.

— Нет. — Она решительно покачала головой. — Вместе, так до конца.

Вдруг до него дошло, что она все время говорит о чем-то, чего он не понимает, не знает, о чем-то своем... Ему стало страшно.

— О чем вы говорите, Маша?

— О доверии. Если вы присылаете ко мне человека, вы должны мне доверять.

— Какого человека?

— Старшего лейтенанта. Окруженца.

— Старшего лейтенанта?! — Федор Лукич почувствовал, что у него немеют кончики пальцев на руках.

Маша нетерпеливо тряхнула головой:

— Федор Лукич, я все знаю. Они же здесь рядом, в лесу.

— Минуточку, минуточку! — Федор Лукич опустился на стул и стал растирать пальцы, они сделались совсем ледяными. — Никакого лейтенанта я не знаю. И вообще ни с кем...

— Вы мне не верите! И говорите, что любите!

— У вас живет кто-нибудь?

— У нас никого нет.

— К вам кто-то приходил и сказал, что от меня? Марья Владимировна!

Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза.

— Почему вы так испугались? Если вы никого не посылали..

— Но вы говорите, они здесь в лесу... Марья Владимировна, что это за люди?

— Вы меня спрашиваете?!

— Этот лейтенант часто приходит?

— Раза три был, на минуту-другую.

— О чем он спрашивал?

— Продукты... Поесть... В лесу голодно.

Наконец Федор Лукич справился с покалыванием и дрожью в пальцах. Он ощутил прилив сил, энергии — нужно было спасать и себя и Машу! Он вскочил, нервно заходил по комнате.

— Марья Владимировна, не скрывайте от меня ничего! Вы знаете, что грозит за укрытие или за помощь... Ради бога, будьте осторожны! Вдвойне! Втройне! Не вступайте ни в какие разговоры. Не верьте никому, кто бы ни приходил. Да еще от меня! Откуда он узнал обо мне? Откуда?

Маша неотрывно следила за ним со страданием на лице. Он остановился перед ней, повторяя с ужасом:

— Откуда? Обо мне откуда?

Нехорошая жалость шевельнулась у нее в душе.

— Не волнуйтесь. Просто кто-нибудь на хуторе проговорился, что вы к нам ездите.

— И вот использовать мое имя... Боже мой! С какой целью?

— Побоялся, что чужому откажут в куске хлеба, назвался вашим знакомым. Что тут страшного?

Он схватился за голову.

— Вы ребенок! Вы не понимаете, что может случиться. Немцы ужасно подозрительны. Если б вы знали, сколько приходится терпеть унижений! Работать у гитлеровцев — это ад. Я не повесился только потому, что надеюсь: мы с вами будем вместе, будем счастливы. Что вы так смотрите? Думаете, я что-нибудь скрываю? Клянусь всем святым, я ни с кем не связан, никого к вам не посылал. Вне подозрений! Вы мне верите?

Она опустила голову.

— Да, верю.

— Ну вот и хорошо. И надо вас увезти отсюда. Как можно скорее. Где же Владимир Степанович? Нужно сейчас же укладываться и ехать...

— А знаете что, Федор Лукич? — вдруг громко и весело сказала Маша. — Я с вами сейчас не поеду.

— Как? Вы же только что... Почему, Марья Владимировна, Маша?

— Очень просто! — пропела она и перевернулась на одной ноге, рассмеялась. — Я ведь еще никогда замуж не выходила, не могу так вот взять и переехать. Надо мне и похныкать и попеть...

— Шутки в такое время! — Он неодобрительно покачал головой. — Ребенок! Но обещайте, если я узнаю, что вам грозит беда, примчусь, и вы поедете.

— Поеду. Но и у меня к вам просьба: не говорите отцу об этом старшем лейтенанте. Он верит, что это ваш знакомый, и ладно. Зачем его волновать? Никому не говорите.

— Рассказывать? Враг я себе, что ли?

— Что за люди он и его товарищи, не знаю. Но греха на душу брать не хочу.

— Да вы не волнуйтесь. Какое мне до них дело!

— Уговорились. Садитесь обедать, отец идет. — И она как ни в чем не бывало стала собирать на стол.

Старик еще из сеней закричал обрадованно:

— А я издала повозочку-то признал!

— Как там с ремонтом, Владимир Степанович? — спросил Федор Лукич, приподнимаясь и почтительно пожимая ему руку.

— Видимо, к вечеру кончат. — Старик подошел к рукомойнику, стал мыть руки. Бросил через плечо: — Охрану выставили, не подступиться.

Маша нарочито медленно прошла в сени, повозилась там. Сказала оттуда:

— Обедайте. А я... я к чаю смородины нарву... — Не спеша вышла из дому. И только когда убедилась, что в окно не увидят, побежала к лесу.

Она хорошо знала направление. Не раз в сумерках стояла она на опушке и с тоской слушала далекие шумы лагеря, иногда тихую песню.

— Стой! Кто такая?

Близко перед глазами дуло автомата. Пропотевшая у лба, выгоревшая пилотка, звездочка. И курносое, совсем мальчишечьё лицо.

Ее не провели в лагерь, Базанов вышел к посту. Вышел чужой,

настороженный. На известие об окончании ремонта будто вовсе не обратил внимания. Выговорил ей строго и недовольно:

— Ведь предупреждал: сюда идти только в крайнем случае. Она сразу обозлилась:

— Для меня самый крайний. Пришла спросить, кто вы такой.

— А вы не догадываетесь!

— Вы меня обманули. Федор Лукич вас в глаза не видал.

— Ну и что?

— А то, что теперь не верю ни единому вашему слову. Может, вы у немцев служите? Или отсиживаетесь тут с оружием, сами себя охраняете. — Ей захотелось сделать ему больно. — Села кругом сжигают вместе с людьми, а вы тут песни распеваете...

— Это вы говорите?! Сидите под крышей и ждете, когда жёних в город повезет... Удирайте, пока не поздно! Здесь жарко будет — не поздоровится! Живет рядом с фашистской сволочью, пальцем не пошевелила и смеет мне говорить... Вы зачем сюда пришли — прикинуть, кто сильнее, где безопасней? Чья возьмет? Уезжайте! Без вас обойдемся.

— И я обойдусь! — сказала она и отвернулась.

Но не ушла. Базанов видел, как она украдкой вытирает слезы. Неловко тронул ее за локоть.

— Будет. Сама напустилась...

— Почему вы сразу не сказали... все... про себя?..

Он улыбнулся:

— Откуда ж мне знать, кто вы такая, чем живете, о чем думаете?

Она повернула к нему лицо с дорожками слез на широких скулах. Совсем по-детски шмыгнула носом.

— Война эта проклятая заставила людей не доверять друг другу!

— Вы и теперь не верите мне, Маша?

Тогда она заговорила о главном, из-за чего пришла:

— Не могу больше... Не могу так, одна... И ничего, ничего своими руками. Дайте задание, поручите мне... Пожалуйста, я прошу вас!

Базанов помолчал. Снял фуражку, пригладил волосы. Смахнул основую иголку с рукава. Кашлянул. Наконец решился:

— Постарайтесь разузнать, когда будут пропускать первый эшелон. Может, через вашего этого... Федора Лукича? Ведь он где-то на железной дороге у немцев служит... Нам бы хоть за несколько часов. Лучше, конечно, за день. Как удастся. Но имейте в виду: узнает Федор Лукич о нас — донесет немцам. А усилят охрану — к дороге не подойти.

— Федор Лукич такого не сделает!

— Донесет, будьте покойны.

— Он честный человек!

— Ну да, честно на немцев работает... Так как же?

— Я сделаю все! — Она так боялась, что он опять перестанет ей верить. — А вы придете?

— Завтра.

— Как всегда?

— Как всегда.

— Так я пойду, а то хватятся в доме...

Когда затихли ее шаги, Митя глубоко вздохнул:

— Товарищ старший лейтенант, а вы заметили? На меня она ноль внимания!

— Заметил! — ответил Базанов, думая о другом.

То, что решающий час близок, в лагере понимали все. Базанова ждали, собравшись у костра тесной кучкой, в напряженном молчании. Он набросал на клочке бумаги радиограмму, передал Соне — зашифровать, отстучать в отряд. Груздев вытащил из вещевого мешка тол, разложил на солнышке. Базанову с самого начала показалось, что взрывчатки мало, хоть они и забрали все, что оставалось в отряде. Тогда же посоветовался с лейтенантом:

— Если тяжелый состав, Сочнев... у тебя опыт. Свалит паровоз?

— Как заложить! — таинственно ответил лейтенант.

Осматривая как-то окрестности лагеря, Базанов обнаружил неразорвавшийся снаряд. Теперь он послал двух человек за снарядом. У костра из черного корпуса выплавляли тол. Базанов без устали сновал по лагерю — подойдет к одному, к другому, поглядит, потрогает смазанный затвор, проверит зеркало ствола на солнышко, пойдет дальше. Подсел к Сочневу, который разобрал и разложил на белой тряпке свой пистолет.

— Слушай, какой порядок у немцев на дороге?

— Нормальный порядок.

— Перед проходом такого важного поезда проверяют путь?

— Бывает.

— А порожняк пускают?

— Когда как.

— Ты три эшелона подорвал, должен знать.

— Посмотришь, как я четвертый подорву, тоже узнаешь.

Базанов внимательно поглядел на него. Сочнев тщательно наворачивал на шомпол тряпочку, весь был поглощен этим делом.

— Понятно, — сказал Базанов и отошел.

Через несколько минут Базанов собрал всех. Сочнев, понимая, что теперь наконец он становится главным героем, подошел последним, с выражением полной незаинтересованности.

Базанов внезапно выждал, что-то обдумывая. Склонив голову набок, неожиданно сказал:

— Главная задача, товарищи, — достать продукты. Продукты у нас на исходе.

Все растерянно молчали. Наконец Сочнев произнес, ни к кому не обращаясь:

— Продукты у немцев есть.

Базанов, также не глядя на Сочнева, спокойно продолжал:

— Продукты нужно достать тихо. Мирно попросить у населения. И подальше отсюда.

— Мирная экспедиция! — насмешливо прокомментировал Сочнев.

— И сейчас же. У нас одна ночь в запасе. Одна ночь.

Сочнев посвистал:

— Главное дело — об харчах позаботиться!

— Потому что неизвестно, сколько времени придется сидеть в кустах и ждать и сколько потом отходить и прятаться! — обратился наконец прямо к Сочневу Базанов.

— Героический план! А мину хоть будем закладывать, товарищ старший лейтенант?

— Будем, товарищ лейтенант!

Они объяснялись теперь только друг с другом. Базанов тихо и сдержанно, Сочнев громко и вызывающе.

— Будем, товарищ лейтенант. Мину перебросим на дорогу сегодня же ночью. После и близко подойти не удастся. А заложим, как только немцы проверят путь и успокоятся. Понятно?

— Ну вот что! — решительно сказал Сочнев, расправляя складки на гимнастерке и пристукнув каблуком по корню. — Надоело резину тянуть. Мое дело обеспечить главную задачу. Мне в помощь — одного Очерета. С остальными обеспечишь прикрытие. Действовать буду по обстановке. Понятно?

Наступила жуткая тишина. Но взрыва не последовало. Базанов подумал, подумал, кивнул головой. Потом медленно проговорил:

— Очерета? Нет. Очерет нужен для другого... Очерет пойдет со мной.

— Вот ты как, товарищ Базанов! — с отчаянной веселостью сказал Сочнев. — А мне все равно! Кого хочешь давай. Даже Митьку!

Митя, только что сменившийся с поста, вскочил, покраснел до слез:

— Что значит «даже»? Хуже всех? «Даже»!

Но Базанов сказал, что Митя, пожалуй, действительно подходит, что он отлично умеет поговорить с людьми и будет сопровождать Сочнева. И Митя, успокоившись, ответил с положенной солдатской суровой скромностью:

— Есть, товарищ старший лейтенант!

— Постой, постой! — подозрительно сказал Сочнев. — При чем тут «поговорить с людьми»? Базанов!

— А как же! Культурно надо.

— Да ты куда меня посылаешь?

— Как куда? За продуктами. На хутор. Пятнадцать километров. К утру вернетесь. Очерет! Пойдем-ка мину посмотрим... — И Базанов вразвалочку пошел к костру, где плавил тол.

Сочнев побелел, ничего не сказав, негнушимися ногами пошел к месту, где только что чистил пистолет, и долго, бессмысленно смотрел на разложенные на тряпке части.

Подошла Вера, тихо запела:

— Пожалуйста, принесите мне из деревни меду, я так его люблю!..

Сочнев зашатался как пьяный:

— Я тебя пристрелю!

— Нужно же прежде собрать пистолет!

— Уйди! Уйди! Ведьма!

Подбежал Митя:

— Что прикажете взять с собой на операцию, товарищ лейтенант?

— Кошелку! — завопил Сочнев, в неистовстве швыряя пилотку наземь. — Кошелку, к чертовой бабушке!

Поздним вечером, когда улегся ветерок, и лес притих, и на черном небе засветились звезды, к домику обходчика подошли Базанов и Очерет. На крыльцо тенью скользнула Маша.

— Ну?

— Немцы за мостом в селе ночуют. По всему, утром будут проверять путь. Верно, порожняк пропустят. Заходите, отца нет. Дежурит на дороге, в охране.

— Вы не передумали, Маша?

— У вас есть фонарик? Посветите сюда.

-- Что это?

— Мой комсомольский билет.

В кружочке яркого света на мгновение четко выступил профиль Ленина. И снова темнота.

— Маша, этот сверток нужно заложить под рельсы. Замаскировать.

— Понимаю.

— Нужно не просто рвануть. А рвануть в нужный момент. Дернуть за шнур.

— Понимаю.

— Значит, я должен находиться где-то поблизости. Видеть состав своими глазами.

— Понимаю.

— А лес по обе стороны вырублен. И охрана. По всей линии костры жгут, согнали мужиков... Не подойдешь.

— Я сама сделаю. Научите.

— Нет, нужно наверняка. Слишком важно. Единственное место, где я могу укрыться, — ваш дом. Отсюда до насыпи метров тридцать...

Она ответила сразу, без колебаний:

— Да, только здесь. Спрячетесь в подполе. Там в обшивке щели колея видна.

— А если немцы будут обыскивать? Знаете, чем это грозит?

— Тем же, чем и вам.

— Теперь главное — заложить мину.

— Сейчас пойду сменять отца у костра на насыпи. Прямо против нашего дома. Укройтесь за домом. Когда помашу горячей веткой, идите к дороге, закладываете. — Она замаялась: — А можно вас спросить... Попросить... Потом, после того... Мне все равно, мне как прикажете... Отца заберите с собой. А?

— Обязательно, Маша.

— Теперь все. Теперь я пойду.

Прижавшись к стене дома, они следили за тем, как там, на насыпи, металось пламя костра и искры, отрываясь, неслись вверх и таяли в высокой мгле. Потом слушали скрип ступенек, шаги в доме, покряхтывание и ворчание старика. Наконец у костра выпрямилась женская фигурка и высоко подняла горящую ветку, как семафор.

Два часа ушло на то, чтобы заложить мину, проложить шнур, замаскировать. Уже светало, когда они отползли от насыпи к дому. Едва успели спрятаться в дом, когда на насыпи показался немецкий патруль — три солдата с винтовками. Они тщательно осматривали насыпь, рельсы. Шли так медленно, что можно было сойти с ума. У костра остановились, о чем-то поговорили с Машей. Прошли по тому самому месту, где лежала мина. Ушли.

— Ото добра дивчина! — хрипло проговорил Очерет. — Пофартило тебе, старший.

— Ты это про что, Очерет?

— Та не, я не в том смысле. Я насчет задания.

— Отправляйся в лагерь. Услышите взрыв, сразу передавай-те сообщение в центр. Там ждут.

— А ты как же?

— Мы с Машей и стариком уйдем в лес. Главное — радиог-рамма. Если не услышат в центре, пусть девушки передают каж-дый час. С этим эшелонем, видно, многое связано. Что бы ни слу-чилося, берегите радистов!

— Ясно, старший! — И, пригнувшись, Очерет побежал к лесу. Старика разбудил стук подъезжающей повозки. Он бросился

к окну. Торопливо привязывая запаренных лошадей, Федор Лукич кричал ему от плетня:

— Скорее собирайтесь! Я за вами приехал! Скорее!

Федор Лукич вбежал в дом, забыв вытереть ноги, запыленный, с заплаканными глазами и пересохшими губами.

— Где Маша?

— Спит. Дежурила ночь. — У старика затряслись руки. — Что случилось, Федор Лукич?

— Нужно немедленно уезжать. Немедленно! Марья Владимировна! Маша! Маша! — Он забарабанил кулаком в стенку. — Маша, идите сюда! Разбудите ее, Владимир Степанович!

Маша остановилась на пороге, загородив дверь в свою комнату. Она была в сапогах, в отцовском пиджаке, видно, не ложилась. Спокойно и строго глядела на Федора Лукича.

— В этом районе немцы скоро будут прочесывать лес. Мы сейчас же уедем. У меня пропуска на вас.

— Дождались, доченька! Зачем прочесывать?

— Специальный поезд пойдет. Особенные предосторожности.

— Разве они чего-нибудь опасаются? — спросила Маша.

Федор Лукич развел руками.

— Они же знают, что здесь... в лесах вообще... беспокойно...

Мало ли кто...

— От кого они знают, Федор Лукич?

Под ее строгим взглядом ему становилось не по себе.

— Владимир Степанович, объясните ей! Ведь они пойдут именно сюда, к сторожке. Пойдут от хуторов цепью через лес к насыпи. Ни за что нельзя ручаться. Собирайтесь, бога ради! Я пока напою лошадей...

Но гитлеровцы уже пошли. В этот самый час в пятнадцати километрах от сторожки шел неравный бой. Цепь карателей наткнулась на возвращающихся в лагерь с продуктами Сочнева и Митю.

Митя ни о чем не успел подумать, когда сильно, но не больно его ударило по левой руке, и он удивился, что не может ее поднять, что она не слушается. В тот же миг Сочнев толкнул его в бок, в спину, что-то крикнул, и они побежали сквозь лес, не замечая кустов и врагов, точно по открытому полю.

Стрельба редкими очередями продолжалась уже где-то справа. уходила все дальше, к лагерю. Митя лежал в кустах на боку, тихонько стонал — рана начинала болеть. Сочнев послушал, привстал, огляделся.

— Ну как, Митя?

— Где они?

— Обошли.

— Не заметили?

— Дай перевяжу.

— Ой, не дави так! Смотри, пальцы двигаются... Рука будет, а, Сочнев?

— Будет, будет. Идти сможешь?

— Да, да, я пойду. — Он попытался встать и упал. — Извини, не могу. Голова кружится. Это от крови... Куда они пошли?

— Натоптали мы дорожку к хутору... По нашим следам — в лагерь.

— Ведь мы не прямо шли, мы кружили.

— Ну, это их ненадолго задержит.

Митя затих. Сочнев испуганно тронул его за плечо:

— Ты что?

Митя плакал.

— Вставай сейчас же!

— Не хочу умирать, Сочнев! — Он рыдал все сильнее. — Жить хочу, Сочнев!

— Вставай, размазня! — прикрикнул Сочнев. — Рана пустячная.

— Мамка в Москве... И не знает, что со мной...

Сочнев присел рядом на корточки, погладил его по голове.

— Подъем, партизан!

Митя перестал плакать. Только всхлипывал прерывисто, судорожно.

— Знаешь, Сочнев, в военкомате я соврал... Я метрику подделал... Мне месяц назад шестнадцать исполнилось...

— Вставай, друг. Пойдем.

Митя вдруг сел и быстро, горячо заговорил:

— Знаешь, оставь меня здесь. А то помешаю тебе, обуза... Прикрой ветками...

— Брось языком трепать.

— Оружие оставь. Живым не дамся. Я умею стрелять. Ты видел? Много я фрицев уложил?

— Человек десять... пятнадцать...

— То-то! Ты расскажи ребятам.

— Ты отлично воюешь. Двинули?

— А знаешь, я дойду, дойду, дойду. — Он продолжал говорить быстро и невнятно, как в бреду. — Я отдохнул. Ты меня не бросай. Я тебе скажу, что надо делать. Немцы нас обошли. Дорога на хутор свободна. А оттуда до отряда за сутки доберемся. Повозку на хуторе возьмем. Сообщим, командир вышлет Базанову помощь. И мы их спасем.

— А задание?

— Что задание? Что задание? Немцы все равно помешают подорвать эшелон. И потом я тебе скажу: Базанов все неправильно организовал. Вообще нельзя было ему поручать. Я прямо ему сказал. В глаза сказал. Веришь?

— Ну-ка, сделай шаг.
Митя неуверенно шагнул.
— А немцев много. Верно?
— Много. Стоишь?
— Стою. И потом мы двое все равно не могли бы помочь...
— Держись за меня, за пояс. Пошли.
— Куда ж ты?
— К нашим, на железку. Мы обязаны доставить продукты, Митя. И сейчас им каждый человек нужен.
Некоторое время Митя молча шел за Сочневым, держась за пояс, спотыкаясь. Потом заговорил:
— Я трус, Сочнев! Трус! Слышишь?
— Слышу.
— Говорил, говорил, а только и думал, как бы самому спастись.
— Голова не кружится?
— Ничего, разойдусь. Ты молодец, Сочнев. Клянусь себе, слышишь? Клянусь, это никогда не повторится. Клянусь. Я ведь комсомолец. Никогда больше...
— Поменьше разговаривай, а то силы теряешь.
Впереди справа снова разгоралась стрельба.

Едва Федор Лукич с отцом вышли из дому ладить повозку, Маша бросилась к люку в полу, подняла крышку.

— Вы слышали, что он говорил?

— Проверь маскировку шнура! — отозвался Базанов из подполья.

— Все в порядке. Когда немцы проходили по насыпи, чуть не умерла со страху. Оттуда видно?

— Я доски раздвинул. — Базанов выглянул из люка. Он был буднично спокоен, будто полез туда за картошкой. — Ну-ка, дай листок бумаги, карандаш.

Она заметалась по комнате.

— Господи, карандаш, карандаш... Вот! — Нашла карандаш, вырвала из тетради листок.

Базанов положил бумагу на пол, стал писать.

— Эту записку... нужно сейчас же... передать... в лагерь. Нужно задержать немцев во что бы то ни стало. Иначе прорвутся сюда, и эшелон проскочит. Ты понимаешь?

— Да, да.

— Чтобы Федор Лукич ничего не заметил. Поднимет тревогу, и меня здесь застукают.

— Сделаю, сделаю, все сделаю! Отец идет! Прячьтесь!

Владимир Степанович услышал стук крышки люка, подозрительно оглядел комнату.

— В подполе ничего нет, Маша. Что ты ищешь?

Ей уже было все равно. Она стала надевать платок.

— Маша! Куда же ты?

— Тут сейчас бой будет. Разве я убегу? Разве ты убежишь?

— Если б я был один!

— Знаешь, кто приходил к нам из лесу? Пока мы сидели под крышей и ждали, они погибали за нас! Сейчас они должны взорвать немецкий поезд.

— Господи, я этого боялся...

— Мне нужно сейчас же отнести в лес записку. От этого все зависит.

— Ты погибнешь, дочка. Убьют тебя фашисты.

— Заговори Федора Лукича, чтобы он не искал меня.

— Да как его заговорить? Ты ему нужна, не я. Искать станет

В подпол ползет...

Маша с удивлением посмотрела на отца. Значит, он все знал!

— Ну, свяжи его, убей, записку надо передать!

Старик покачал головой:

— Хорошо. Где моя шапка?

— Что ты хочешь делать?

— Давай записку. Меня он не станет искать. А ты его удержишь.

— Ты их не найдешь!

— Господи, да я двадцать раз и слышал и видел их.

Маша бросилась к нему.

— Постой! Отец, что бы ни случилось, попадет туда записка или нет, я все равно останусь здесь.

Он ответил угрюмо, не глядя на нее:

— Знаю.

Прошло несколько томительных минут. Маша замерла, съежившись на краешке лавки у окна.

Вошел Федор Лукич, растерянно огляделся по сторонам.

— Вы не собрались!

Измученный страхом, Федор Лукич так осунулся за сегодняшнее утро, что совсем сморщился.

— Куда Владимир Степанович делся? Боже мой!.. Почему вы молчите? Марья Владимировна! Маша!

— На опушке у него кое-что спрятано... — чуть слышно сказала Маша.

— Ох, эти минуты! — Федор Лукич нехотя присел. Его пугала неподвижность Маши. Он заметил, что Маша смотрит на него с каким-то странным выражением, почти с любопытством.

— Скажите, Федор Лукич, вам нравилась Советская власть?

— О чем вы и в такую минуту!.. Советская власть мне ничего плохого не сделала. Отец мой из крестьян...

— А гитлеровцы?

— Что гитлеровцы? Как скверно вы обо мне думаете! Неужели я не вижу, что они делают на нашей земле?

— А если б они тихо и мирно захватили власть, отменили все советские законы, дали какие-нибудь другие?..

— Если б это были справедливые законы...

— Что значит справедливые?

— Ну, чтобы я имел свой дом, чтоб никто не вмешивался в мою личную жизнь... Не знаю. Я вас люблю, вот и все мои законы.

— Почему вы рассказали немцам, что в лесу здесь партизаны?

— Я не говорил, что партизаны.

— А кто?

— Ловите меня на слове, как вора! Не знаю, от кого они узнали. Но когда спросили, почему я езжу сюда, для кого второй пропуск, я сказал, что хочу увести вас, что здесь беспокойно, в лесу неизвестные люди. Я не знал, что партизаны. Не сердитесь. Ведь я не нарочно. Ради вас!

— Замолчите!

— Я совсем не против Советской власти! Едем, там во всем разберемся. Где же Владимир Степанович?

— Сейчас придет.

Внезапно неподалеку в лесу раздалась частая автоматная стрельба. Федор Лукич вскочил, заметался по комнате, схватил один узел, другой, бросил.

— Немцы идут! Скорее, Маша! Почему вы так спокойны?

— Без отца я не уйду.

— Он догонит нас. Мы его встретим по дороге. Он стар, он прожил свое. А вам жить! Слышите, стрельба все сильнее... Я не могу! Они убьют нас! Пропустите, я пойду поищу Владимира Степановича...

Послышался быстро нарастающий шум поезда. Гулко грохоча пустыми вагонами, состав промчался мимо сторожки.

— Маша, сейчас пройдет спецпоезд!

Но Маша уже не слышала его. Какая стрельба в лесу! Совсем недалеко от сторожки. И вот в шум боя вплелось нечто новое, какой-то могучий подземный гул, как предвестник землетрясения. Это издали шел на фронт тяжело груженный специальный эшелон.

После стычки с Сочневым и Митей гитлеровцы быстро прочесали узкую полосу леса от хутора до лагеря. Партизаны были почти окружены. Бой шел трудный, лесной бой, когда мерещится, что стреляют со всех сторон, и непонятно, где и как можно укрыться.

Соня и Вера лежали в центре лагеря, тесно прижавшись к земле. Страшно поднять голову. Где враги, где свои? О них забыли! Их бросили!

Соня не выдержала и приподнялась.

— Ребята-а!..

Совсем рядом у ее плеча появилась кудрявая голова Очерета.

— Шо с тобой, голуба?

Он спокойно прицелился и выстрелил в кого-то невидимого.

Потом Соня заметила Груздева, который лежал за бугорком, стрелял одиночными и после каждого выстрела оборачивался и кричал неизвестно кому:

— Патронов! Давай патронов!

Наконец Соня увидела и Мирского. Он стоял за сосной и, стреляя куда-то, кому-то что-то кричал.

— Дивчата, чи вы оглохли? — Очерет потряс Соню за плечо. — То ж вас Мирский кличе! Швидко!

Девушки послушно поползли к сосне, где, очевидно, был сейчас командный пункт. Тут валялись пустые диски, на плац-палатке — куча патронов.

— Сидите здесь и заряжайте диски! — приказал Мирский и перебежал к Очерету. — Гриць, туда! Вон где прут, гады!

Стрельба то ли стихала, то ли удалялась. Передышка?

Заряжать диски трудно — патроны не лезут, с силой выскакивают, выворачивают пальцы. Закусив губы, девушки кое-как справлялись.

— Куда же твой Сочнев провалился?

— Влип в какую-нибудь авантюру. Он сумасшедший.

— Ты его подбила.

— Я хотела, чтобы он отличился.

— Ради тебя?

— Ради меня.

Стрельба снова разгорелась, но на другом крае — гитлеровцы метались, пытаясь обойти лагерь, прорваться к железной дороге.

К девушкам подбежал Очерет, швырнул пустой диск, схватил полный.

— Нехай фриц спробуе!

Фельдшер подвел очень бледного Груздева.

— Поцарапало, понимаешь... — Груздев попытался улыбнуться, стал падать.

— Он умирает! — в отчаянии закричала Соня.

Фельдшер, не отвечая, сделал Груздеву укол. Вытащив пистолет, ушел снова в бой.

— Ругаешь меня, а сама втрескалась! — сказала Вера, продолжая заряжать диски.

— У него жена! — ответила Соня сквозь слезы.

— Ну и что?

— У него жена!

Теперь стрельба уже совсем близко, почти вплотную. Подбежал

Мирский. Приклад автомата был разбит в щепки. По щеке текла кровь. Но он все-таки умудрялся стрелять из своего обломка. Прикрывая девушек огнем, командовал:

— Груздева на плащ-палатку! Отходим.

— Куда? — спросила Вера.

— Куда прорвемся.

Появился Очерет с трофейным ручным пулеметом. Установил пулемет на треноге и застрочил. Немцы, видно, залегли, замолчали.

— Бачь, яка музыка! — в восторге закричал Очерет. И тут заметил, что кто-то ползком пробирается к ним со стороны железной дороги. Издали машет, чтобы не стреляли. Заметили его и немцы, открыли прицельный огонь. Очерет прикрыл его пулеметной очередью. Немцы на мгновение снова замолкли.

— Фрицы залегли! — закричал Очерет. — Давай, милок, ползи до нас! Давай, давай сюда!.. Старик якийсь... Да то обходчик, хлопцы! От Базанова!

— А-а!.. — застонал Мирский. — Не добежал. Лежит, лежит. Достали сволочи! Очерет, прикрой меня огнем, доползу...

Мирский вернулся с запиской Базанова.

— Никуда не отступать! — закричал Мирский. — Остаемся! Приказ Базанова — не подпускать немцев к дороге!

— Держи-ись, хлопцы! — подхватил Очерет.

Соня заметила, как кто-то в короткой зеленой шинели, перебегая от дерева к дереву, приближается к Вере.

— Сзади, Вера! Сзади!..

Вера обернулась и, шепча «ой, мамочка!», не целясь, выстрелила из своего ТТ. Выстрела не было, боек цокнул вхолостую.

— Предохранитель! — завопила Соня. — Сними с предохранителя!

Уже близко за деревом зеленое плечо, пилотка с белым орлом, дуло автомата. Вера снова выстрелила. Собственный выстрел оглушил ее. Немец медленно вывалился из-за дерева, роняя автомат.

— Ой, мамочка! Попала! — радостно прошептала Вера и поползла за автоматом.

— Патронов! Патронов!

Патронов больше не было. Вера попыталась стрелять из немецкого автомата, но и он пуст. С тяжелой рацией за спиной она с трудом приподнялась и увидела, что Груздев стоит во весь рост. Бледный, скривив рот, преодолевая головокружение и боль, он, медленно поднимая пистолет, шел прямо на двух немцев, бегущих к нему через полянку.

Вдруг совсем рядом, со стороны болота, за спинами немцев раздалось «ура!», ударили наши автоматы.

Немцы растерялись, остановились, попятились.

И, точно поддерживая контратаку, как артиллерийский залп, грянул взрыв на железной дороге. Мощным громом прокатился он низко над деревьями. В следующее мгновение мертвая тишина воцарилась в лесу.

В лагерь ворвались Сочнев и Митя.

— Вперед! — властно командовал Сочнев.

— Вперед! — испуганно вторил ему Митя.

— Вперед! Ура-ра!.. — подхватили партизаны.

И немцы побежали. Слышно было, как, панически переключаясь, оставляя убитых, бросая оружие, бежали они назад к хуторам. А со стороны железной дороги им вдогонку доносились все новые и новые взрывы нарастающей силы — горел эшелон, рвались боеприпасы. И небо над лесом светилось неровным светом зари.

Негромко переговариваясь, партизаны возвращались в лагерь, сваливали у костра трофейное оружие. Фельдшер, стоя на коленях, мастерил носилки для Груздева. Двое в стороне рыли могилу, чтобы похоронить обходчика. Вера, примостившись у пня, писала радиogramму, Соня выстукивала позывные. Часовые замерли на посту.

Сочнев еще раз оглядел лагерь, кивнул Очерету, и они быстро ушли к железной дороге встречать Базанова.

Группе предстоял обратный путь...

Я вспомнил об этом случае, когда, перелистывая страницы «Истории Великой Отечественной войны», прочитал, что партизаны уничтожили тысячи эшелонов противника с живой силой и боевой техникой.

Всего один случай из тысяч. Крошечный кусочек истории. Одна строчка радиogramмы. Но ведь это частица вашей жизни, товарищи моей юности, комсомольцы сорок первого года!



Ненавижу семейные торжества. Почему я обязан тащиться к черту на кулички, чтобы торчать в шумной компании, где все в три раза моложе меня, изнемогать от одних и тех же дружеских острот по моему адресу?! Это любопытно только в первые пятьдесят лет. И зачем, спрашивается, присылать за мной провожатого! Вежливость, видите ли!..

Юноша стоит у двери, молча слушает мое брюзжание и не сводит с меня неумолимого взгляда. Еще этот галстук, к которому ни когда не мог привыкнуть. Дурацкая мода!

Впрочем, я прекрасно знаю, что злюсь на себя потому, что всегда с нетерпением жду этого дня, а когда он наступает, боюсь, что на сей раз меня забудут позвать. Ведь время идет, и люди многое забывают, очень многое!..

Мы выходим на вечернюю улицу. Фонари еще не зажгли, и юноша осторожно поддерживает меня под локоть, будто в июле может быть гололед.

— А я вас не знаю, молодой человек! — через некоторое время говорю я и останавливаюсь, не из-за одышки, конечно, а только для того, чтобы его разглядеть.

Он совершенно не смущается. Этаким коренастый, солидный парень в очках. Типичный штангист.

— Мы с Олесей на разных факультетах, — снисходительно поясняет он басом. — И сегодня я впервые иду в их дом.

— Ну и шли бы! Я при чем?

— Олесе очень хотелось, чтобы перед этим я встретился с вами.

— Проводить?

— Нет, чтобы поговорить.

Ага, значит, кое-что все же ей дорого.

Так как я не отвечаю и все еще не двигаюсь дальше, он, видимо, считает себя обязанным продолжать разговор:

— Олеся рассказывала, что познакомилась с вами ровно двадцать три года назад.

— Да, тогда меня вот так же насильно вытащили из дому! — раздраженно говорю я. — Такой же незнакомый, самоуверенный молодой человек. Почему-то люди считают, что семейный врач — это ишак, раб, обреченный до последнего вздоха жить чужими интересами.

— Семейный врач — доисторическое понятие, — замечает юноша. — Как цирюльник. Или алхимик.

Я взрываюсь:

— Доисторическое! И вы собираетесь стать врачом! Специалистом по левой ноздре!

Я раздражаюсь саркастическим смехом. И быстро иду вперед. У меня еще достаточно сил, чтобы загонять подобного молокососа. Вот молодая смена. Новое поколение врачей с кибернетической диагностикой. При этом можно даже и не видеть больного, не слышать его голоса. Кривые. Диаграммы. Формулы. Семейный врач! Разве этот юноша может понять, как дрогнуло у меня сердце в ту глухую ночь, двадцать три года назад, когда я услышал эти два слова. Семейный врач! Разве ему это интересно? Ну, конечно, он хватает меня под руку. Он отлично воспитан.

Тысячу раз зарекался не пускаться в воспоминания перед современной молодежью. Кто из них может представить, что означал тогда простой стук в дверь. Ночью!

Жена вскочила, бросилась в комнату, где спала внучка. Я взялся за цепь. Сердце стучит на весь дом. Сейчас на пороге блеснут автомат, немецкие погоны...

В переднюю вошел человек в черном пальто, кепке, давно не бритый. Быстро прикрыл за собой дверь. Всмотрелся.

— Доктор, я за вами. Нужно помочь одному человеку. Едем.

— Позвольте, — говорю, — кто вы, откуда, что случилось? Командантский час, пропуска у меня нет. Немцы стреляют без предупреждения.

— Все это я знаю. Рожает женщина. Жена нашего товарища. В лесу. Понимаете? Возьмите все, что нужно. Доктор! Скорее же мы должны проехать сорок километров.

Да, я колебался. Может быть, если бы не жена с внучкой, которую дети оставили у нас — они были на фронте... И потом я вообще по природе своей робок и нерешителен... Наконец, мне было уже под шестьдесят...

— Вас зовет человек, которого вы хорошо знаете. Вы лечили его с детских лет. Лечили его сестру и братьев. Его отца и мать. Он мне сказал: «Вася, это наш семейный врач, он придет».

И тут меня осенило: Астахов! Они жили через улицу. Большая семья. Старик учительствовал. Они успели эвакуироваться. Но вот по городу пополз слух, что в лесу появился молодой Астахов, что он командует партизанским отрядом...

Он вырос на моих глазах. Много болел. Немало часов просидел я у его детской кровати.

Адская была дорога. Страху я натерпелся! Ночь темная. В горо-

де тревожно — там стреляют, в другой стороне зарево пляшет — горит что-то. Крики. Потом патруль. Мы повозку в переулочек. Лежим ничком в сене, не дышим. «Господи, — думаю, — сейчас лошади заржут». А когда в лес въехали, еще того страшнее — каждый пень немцем смотрит.

И так я от этой нервозности разозлился, что когда на рассвете нам навстречу вышел Петя Астахов — сразу его узнал, — я и накинулся: «Время, — кричу, — нашли детей рожать!»

Он меня за руки хватает, смеется и плачет. Как был — мальчишка! Только что в кубанке с красной лентой, в ремнях с пистолетом. И товарищем командиром кличут. А так Петька как Петька, который от касторки ревел и маму звал.

Оглянулся — вокруг такая же ребятня зеленая, растерянные, смущенные... «Господи, — думаю, — дети наши воюют!..»

Привели меня в шалаш. В самой чашобе. Дерном обложен. Просторный. На подстилке жена его. В военной гимнастерке. Молоденькая. Бледная. Волосики черные на лбу слиплись. Измучилась, видно.

Петька подсел к ней, руку ей гладит, смеется.

— Влетело мне, — говорит, — за тебя. Ведь Аня меня, доктор, обманула. Мы с ней в Москве в одной добровольческой части были. Поженились. А как узнала, что я готовлюсь в десант, только вместе и вместе. Ну, она радистка. Командование согласилось. И скрыла от меня, что ждет ребенка. Чтоб не оставили. С парашютом прыгала. На марше рацию таскала. И вот, пожалуйста!..

Выгнал я посторонних, осмотрел ее. Все у нее шло нормально. Распорядился насчет горячей воды... За тридцать пять лет практики в каких только условиях не приходилось мне принимать! «Ничего, — говорю, — Аннушка, все будет в порядке». Тут она стонать начала — время подходило. А она, как только дыхание отпустит, все жалуется: один сеанс связи с Москвой, видишь ли, пропустила. Слы, говорит, обязательно нужно до пяти часов дня родить, у нее, видишь ли, на пять часов очередной сеанс назначен. И смех и грех. «Ладно, — говорю, — постараемся уложиться». И так с шуточками да прибаутками все шло поменьше.

Вдруг заглядывает в шалаш Петя. Белый как снег. Губы трясутся.

— Доктор, — говорит, — голубчик, приостановите роды часика на два, пожалуйста. Нужно ее сейчас же на повозку и отвезти отсюда подальше.

— Да ты, — говорю, — с ума сошел? Приостановить!

— Немцы к лагерю подходят. Ближе уж.

Мне даже весело стало.

— Приостановить! Вот немцев и приостановите. А тут человек рождается. Его не остановить!

И что же вы думаете, молодой человек? Залег отряд в круговую оборону. Партизан была горсточка — двадцать человек. Немцев в пять раз больше.

Через четверть часа началось. То одиночные выстрелы, то очереди. Аня ни о чем не спрашивает, только зубы стискивает да смотрит мне в глаза. Слышу, из-за полотенца, которым вход завешен, мальчишеский голосок. Час от часу не легче!

— Дядя, — кричит, — командир спрашивает, как дела?

— Передай — все в порядке. Пусть держатся. Рождаемся!

Гитлеровцы лезли отчаянно. Они знали, что партизан немного, и, вероятно, рассчитывали сломить их и уничтожить в полчаса. Патронов не жалели — поливали сплошь. Вскоре, слышу, совсем близко взрывы — это они миномет подтащили, чтобы лагерь накрыть. Да ошиблись маленько — левее взяли. Мы потом этот шестиствольный миномет с собой долго таскали. В общем, ничего у них не получалось — ни один партизан не отступил. Тогда гитлеровцы решились на психическую атаку. Цепь пьяных головорезов шла в полный рост. А другая цепь ползла, скрываясь в густой траве и высматривая наши огневые точки. И снова не дрогнули партизаны.

А у нас в шалаше все шло своим чередом. Несколько раз шальные пули залетали в шалаш и рвались с сухим треском, немецкие разрывные пули. Но судьба нас хранила. И только Аня иногда шептала:

— Рацию... ватником... прикройте... Рацию...

Я только потом узнал, что прошло шесть часов. Кончались у партизан патроны. Все чаще ухали гранаты. Все чаще слышался за дверью мальчишеский голосок:

— Дядя, командир спрашивает...

В этот раз я не успел ответить. В руках у меня прыгало упругое горячее тельце. И первый крик родившегося человечка заглушил для нас с Аней шум боя и все другие звуки на свете.

Мальчишка помчался, вопя:

— Родился! Родился!..

И скоро в ответ послышалось «ура-а!..». И немцев погнали, погнали к чертовой матери, извините за такое выражение.

Ну вот. Вышел я из шалаша с Олесей на руках. Присел на кочку. Развернув, подставил ее под солнышко. День был ясный, жаркий, душистый...

В общем, я остался в отряде. Домой мне возвращаться было невозможно. Через недельку переправили моим весточку. И четыре месяца, пока фронт не прошел на запад, ходил я партизанским семейным доктором. Петр погиб вскоре... Анна Сергеевна с Олесей поселились в нашем городе. Я, как видите, совсем старик. А до сих пор себя их семейным врачом считаю. Так-то, молодой человек! Вот вам и доисторическое понятие!

Только теперь я замечаю, что мы с моим провожатым стоим на лестничной площадке между вторым и третьим этажом. Парень смотрит на меня серьезно и сочувственно.

— Интересный эпизод! — говорит он.

Эпизод! Тут вся жизнь, а он — эпизод! Мне хочется философствовать и морализировать. Очевидно, это у меня старческое. И я тотчас же срываю раздражение. Понастроили высоченные дома, никак не доползешь. Попробуй-ка участковый врач побегай по лестницам. Были когда-то удобные одноэтажные домики. Были семейные врачи, которые жили всеми житейскими радостями и горестями своих пациентов. А теперь вместе с избами и их на слом? И все, что пережито, никому не нужно?

— Ну и пусть! Не навязываюсь! — ворчу я и нарочно уско-рю шаги, хоть лестница крутая.

— Были у вас в отряде сложные хирургические случаи? — спрашивает провожатый и остороженько, будто невзначай, снова под-держивает меня под локоть.

— Ну где уж нам! — Я сержусь, что разоткровенничался. И, однако, не могу остановиться, и рассказываю, рассказываю...

Вспоминаю, как вместо ваты использовали сухой мох, как вы-водили чесотку толовой мазью, как стерилизовали материал у по-ходного костра. Отряд вырос вдесятеро. У меня появились помощ-ники. И мы делали операции, которые сейчас, конечно, кажутся простыми, а там представлялись нашим товарищам чудом и вол-шебством. И, перескакивая с одного на другое и захлебываясь, говорю то о молоке для Олеси, которое разведчики с боем добы-вали на немецком фольварке, то о способе перевозки раненых в гамаках между двумя лошадьми. И снова шумят надо мной вет-ви, и дым костра ест глаза, и насквозь промокшие ребята мостят гать под колеса повозки.

Мы стоим перед дверью Астаховых, и я с опаской оглядываюсь на парня.

— Завидую, — говорит он, не улыбаясь.

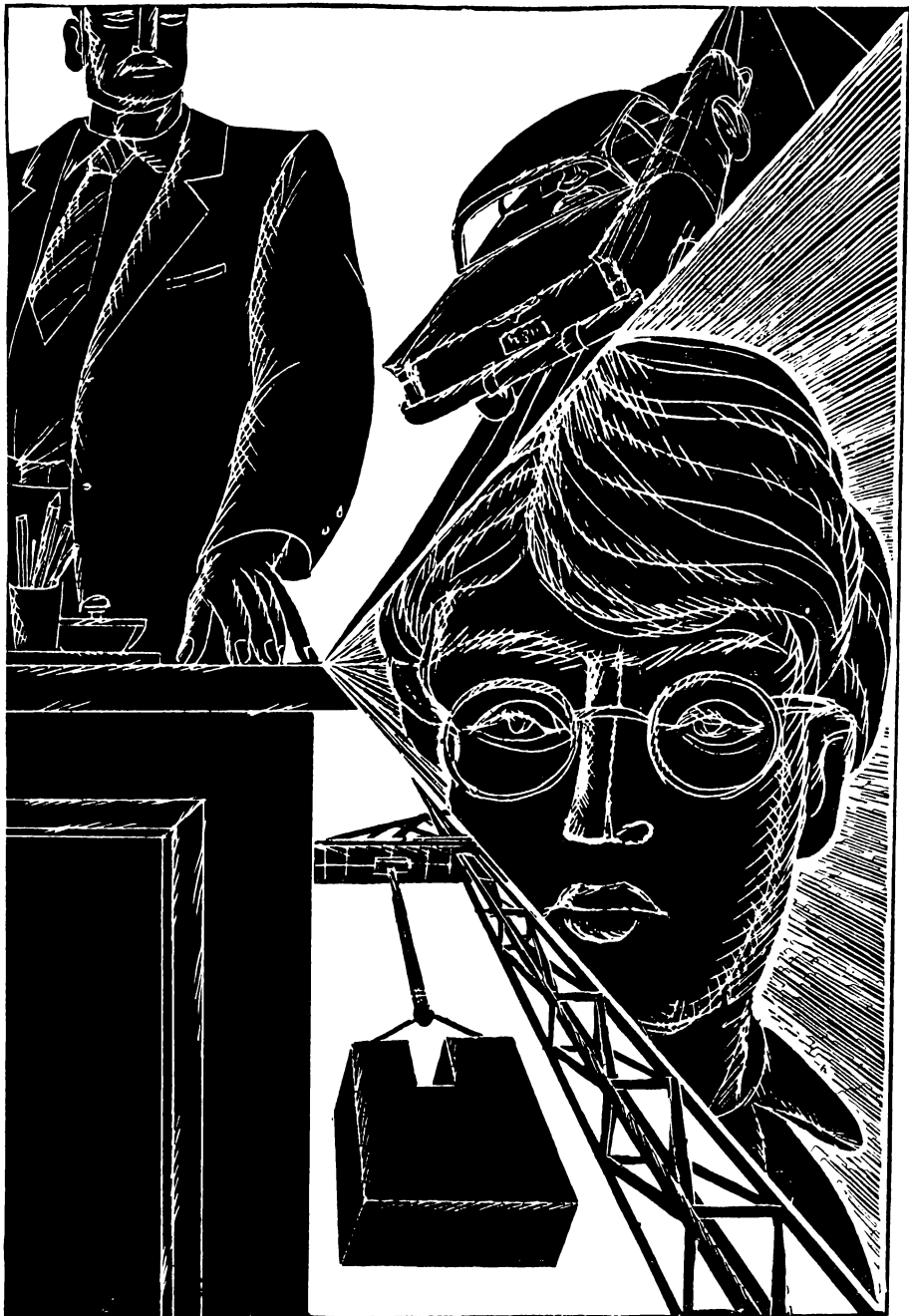
Дверь открывается. И Олеся виснет у меня на шее и чмокает куда-то в ухо. И счастливыми глазами смотрит через мое плечо туда, где стоит самоуверенный молодой человек.

Анна Сергеевна (как она располнела!) машет мне из кухни и, срывая фартук, кричит:

— Иван Корнеевич пришел! Можно за стол!

Меня хватают чьи-то руки, улыбаются знакомые и незнакомые лица. Тащат в столовую.

И наконец тревога и раздражение, с самого утра терзавшие мне нервы, оставляют меня окончательно.



В этот день Андрей Петрович приехал на завод позднее, с утра задержался в тресте. Тяжело ступая и по обыкновению не поднимая головы, прошел к себе в кабинет. У самых дверей успел заметить две тесно сдвинутые маленькие туфельки и сразу раздражился — всем отлично известно, что приемные часы директора после обеда.

Он сел за стол, полистал календарь, проглядел записи. Передвинул папку, переложил карандаш.

Рабочее настроение не приходило. Все утро ссорился с директором соседнего завода из-за нескольких калориферов, одинаково необходимых двум предприятиям. Оба директора распалились, наговорили друг другу много обидного и несправедливого. Раньше такая перепалка бодрила и веселила. Но сегодня, хоть калориферы и достались ему, на душе было нехорошо. И, вспоминая того, другого, побежденного директора, обиженно поджимающего губы, Андрей Петрович испытал незнакомое чувство стеснения, неловкости, чуть ли не жалости...

«Грипп у меня, что ли? — подосадовал он. — Вот не вовремя — конец месяца. И еще посетители неуместные!..»

Он позвонил. Заглянула стареющая секретарша в рыжих кудряшках.

— Кто ждет? Почему не в приемные часы?

— Андрей Петрович, по общественным делам!

В ее голосе была ирония. Он поморщился, и она сочувственно пожала плечами.

— Массы!.. Два часа поджидает.

Он поглядел на нее и усмехнулся. Она коротко тряхнула кудряшками, вышла. За дверью послышался ее резкий голос:

— Пожалуйста, ненадолго! Андрей Петрович очень занят.

Скрипнула дверь.

— Садитесь. Слушаю.

После минуты молчания он поднял голову от папки с бумагами. На него неподвижно смотрели серые, широко расставленные глаза в круглых очках.

— Я подожду, пока вы освободитесь

«Сова! — мысленно обозвал ее Андрей Петрович. — Не отвя-

жешься». — И неохотно отодвинул папку — письмо было интересное, из управления по новой технике.

— Моя фамилия Антипина. У меня поручение от профсоюза.

И втянула губы, будто ожидая отпора, стала еще больше походить на совенка. Ей было не больше двадцати пяти.

Директор привычно выразил на лице преувеличенное внимание.

— Анна Ивановна Зубцова очень тяжело заболела, — произнесла она торжественно, как приговор. Но директор молчал, и она добавила с возмущением: — Очень высокое давление! Я была у нее вчера.

— Зубцова... Так. Где она у нас работает?

— Да это же химик из нашего технологического! — обиделась Антипина.

— Ага! — так и не вспомнив, сказал директор. — Что требуется от меня?

— Вы должны поехать к ней домой.

— Домой? — удивился Андрей Петрович. — Я не врач.

— Вы руководитель! — Она смотрела на него сквозь очки не мигая.

Андрей Петрович хмыкнул и откинулся на спинку стула.

— Вы полагаете, я могу посетить каждого заболевшего из семнадцати тысяч, работающих на заводе? Вы сами недавно у нас работаете?

— Уже больше года.

— Уже!

— Да! — с вызовом сказала она. — Уже!

— Вы за этим пришли? Или ей нужна помощь жильем, деньгами...

— Ничего ей не нужно! Кроме того, чтобы вы приехали и извинились!

— Чтобы я что сделал?

Они сидели неподвижно, тараща глаза друг на друга, как двое глухих. Но вот у нее задрожал подбородок, она протянула судорожно стиснутый кулачок с запиской и сказала жалобно:

— Пожалуйста. Тут адрес. Даже если вы ее ненавидите... Ведь у нее из-за этого обострение.

Андрей Петрович почувствовал, как противная тяжесть, лежавшая на сердце с утра, заворочалась в груди.

— Послушайте, — сказал он, сдерживаясь, — вы предъявляете мне непонятные претензии... В неприятный час... Я даже не знаю, о какой Зубцовой речи!

В кабинет шумно и развязно вошел сияя толстыми щеками и карими глазами, молодой конструктор Федоров, через плечо Антипиной бросил на стол чертеж.

— Все разместилось, Андрей Петрович!

— Говорил же тебе! — оживился директор и расправил чертеж.

Они поочередно с силой тыкали карандашами в ватман, непонятно кричали: «Встык!», «В упор!», «В торец!», «А?» — И потом долго молча смотрели друг на друга смеющимися глазами.

— Валяй приступай! — крикнул директор в стремительную плотную спину Федорова и, сразу повеселев, обернулся к девушке.

— Так на что там обиделась эта ваша Анна Ивановна?

— На прошлой неделе вы проводили совещание по новой технике. Ругали метод, разработанный в нашей лаборатории. Анна Ивановна хотела пояснить, встала. А вы что ей?..

— Что я мог сказать? — Андрей Петрович пожал плечами. — Мне еще до совещания было ясно...

— Вот, вот! Вы отмахнулись и обозвали чепухой.

— Не помню. Возможно.

— Она положила на этот метод год поисков. А вы — рукой! И — чепуха! Но дело не только в этом. Мы все считаем, что метод правильный. И вот у нее давление! И она лежит. Я была у нее вчера...

Обвиняющий тон и вся ее маленькая фигурка с немигающими глазами в круглых очках начинали походить на кошмар.

— Уважаемая товарищ Антипина, мне некогда. Ни разговаривать с вами. Ни ездить по больным. А если ваша Зубцова приняла что-то на свой личный счет... Так здесь завод, а не санаторий для неврастеников. И одно случайное слово... Подумаешь, нежности!

— Как же случайное! — Антипина всплеснула ладошками. — Как случайное, когда вы вот уже сколько лет систематически преследуете и унижаете ее. На каждом шагу. Не пропуская ни малейшей возможности. Упорно сокращаете ей жизнь!

Некоторое время Андрей Петрович молча смотрел на Антипину, стараясь понять, что происходит. Может быть, он что-то забыл? Путаает? А может быть, перед ним сумасшедшая, которую он принимает всерьез? Он почувствовал, что разбит и смертельно устал.

— Хорошо, — сказал он, — объясните. И покороче.

Девушка прижала стиснутые кулачки к груди и заговорила:

— Четыре года назад вы принимали завод, знакомились, вошли к ней в лабораторию. Мне рассказывали, как вас тут все ждали. Знали, что вас только что наградили орденом за большое строительство. И она ждала, готовилась. И вот вы вошли с главным инженером. Она стала говорить, объяснять. Историю. По-

ставьте себя на ее место. Она тут с первого дня. На пустом месте. И пятнадцать лет! А вы? Вы мимоходом глянули на нее и отвернулись. И больше ни разу — в глаза. Ни разу за все годы. Вы тогда увидели на потолке пятно — протекло что-то. И, не дослушав, на полслова вышли. И все. И больше никогда в лаборатории. Случая не было. Зато обидеть ее случай находился всегда! Тысячу раз она спрашивала себя: за что? Почему она вам не понравилась с первого взгляда? Чем раздражает? Голосом? Характером? Она говорит: стоит ей показаться поблизости, как вы уже раздражаетесь, мрачнеете, отворачиваетесь. И это ее терзает.

— Послушайте, товарищ Антипина! — нетерпеливо перебил Андрей Петрович. — По-видимому, эта ваша Анна Ивановна просто больной человек. Поговорите с ее родными, разъясните.

— Нет у нее родных! — со злым отчаянием воскликнула девушка и покраснела. — Извините, я не кричу. Но она совершенно одна. Семья развалилась — война. Живет только заводом. Каждый день последняя уходит. Больной человек? А почему же, когда она встречается с вами в цехе, в коридоре, иногда вот так столкнется — и здороваается, вы никогда не отвечаете?! Голову вниз или в сторону — и мимо. Говорите, нежности. А ей это каждый раз как пощечина!

— Мало ли что кому кажется! — усмехнулся Андрей Петрович.

Ну как он может объяснить, что давно усвоил себе привычку не замечать тех, кто ему в эту минуту не нужен? Как объяснить, что это самозащита, способ не рассеиваться, чтобы не упустить главной мысли, которой живет сегодня, сейчас. Иначе ведь нельзя работать, руководить огромным хозяйством, тысячами людей. Как объяснить этому младенцу... Что-то проснулось в ее неподвижных серых глазах. Любопытство! Разглядывает его. Это уже наглость.

— Ну, вот что, я занят. Если у вас больше нет конкретных фактов... — Он посмотрел на нее уничтожающе, как уже давно научился смотреть на людей, которые от него зависели и мешали.

— Есть еще факты! — упрямо сказала она, не отводя глаз. Может быть, она просто глупа?

— В начале года на конференции вы дали слово всем записавшимся. Всем, кроме нее. А она готовилась. Написала выступление. Два раза читала его нам.

— Как я могу помнить все эти подробности! Ну, увидел незнакомую фамилию... Зубцова? Вот, вот. Время было позднее... Да вы хоть напомните, какая она... внешне, лицо, что ли. Ведь я до сих пор не знаю, о ком вы говорите!

Наконец-то и она растерялась. У нее даже лицо обмякло и рот приоткрылся.

— Не помните! Господи боже мой. такая чудесная... Такой человек! Ей лет под пятьдесят. Невысокая. Глаза! Удивительно хорошие глаза. Такая милая, спокойная... Ну, я не знаю, как описать!

Андрей Петрович встал, вышел из-за стола.

— Давайте кончать. Поверьте мне, все это сплошное недоразумение. Никогда ничего против нее я не имел. Дело только в ее мнительности. Так ей и скажите. Договорились?

Она растерянно кивнула.

— И вот что! — Он обрадовался, что тягостный разговор окончен. — Чтоб уж совсем ее успокоить, расскажите ей, что я даже не знаю ее фамилии и совершенно не помню ее лица! — Он замолчал, добродушно улыбаясь и ожидая, чтобы она ушла.

С девушкой стало твориться что-то непонятное. Лоб и шея покрылись красными пятнами, глаза за стеклами потемнели, губы затряслись.

— Даже лица ее!.. — сказала она с ужасом. — Лица! Нежности!.. Как, как вы только можете... — Она вскочила, попыталась еще что-то сказать, но у нее вырвались какие-то нечленораздельные, рыдающие звуки, и она выбежала из кабинета.

Андрей Петрович пожал плечами, покрутил головой, буркнул что-то вроде:

— Дамочки! — и уселся за стол.

Он снова принялся за письмо из управления. Письмо показалось неинтересным. Взялся за почту. Читал, подписывал, подчеркивал, зачеркивал. Разговор с девушкой не шел из головы. В комнате будто продолжало звучать то выражение обиды, отчаяния и презрения, с которыми она говорила последние слова. Он стал думать о Зубцовой, пытался вспомнить ее лицо. И не мог. И это было почему-то неприятно. Так неприятно, что мешало нормально дышать, теснило грудь. Казалось, достаточно вспомнить, чтобы отвалилась глыба и можно было вздохнуть полной грудью. Он мучительно напрягал память. Но в памяти, как нарочно, возникали лица и картины давних лет. Будто по стеклу перед ним текла эта дымка неясных очертаний, а сквозь стекло он видел свою плотную руку с набрякшими пальцами и кустиками черных волос на суставах, бумаги, стол.

Вот молчаливый крепыш с бычьей шеей — сокурсник, одаренный математик Валя Носенко, а вот остряк и выдумщик Яшка Халецкий с чахоточными глазами и горчащим кадыком. Возник накат из сосновых бревен, склонилась над костром дежурная медицинская сестра Леонора. Из-за нее у него с комбатом были натянутые отношения. Но комбату везло... Где они все, кто они

теперь? Отстали, осели, поблекли... А его жизнь после войны сразу развернулась и помчала, как праздничный поезд — с громом и музыкой. Одна за другой крупнейшие на всю страну стройки награды, газеты... Но сейчас вспоминается почему-то прежнее — институт, фронт... Лица Зубцовой не было. Он даже вообразил себе ее полупустую комнату и кушетку с огромной белой подушкой. Но вместо лица — мутное пятно, сквозь которое просвечивало: «В ответ на ваш номер...» Фу, наваждение! — отмахнулся Андрей Петрович, решительно отодвинул папку и пошел в цех — посмотреть в натуре то, что они с Федоровым решили переделать.

Секретарша, видимо, просигналила Федорову, потому что тот уже нагонял его гулкой рысцой, сияя и лоснясь.

— Последняя примерочка?

«Чему он радуется?» — подозрительно подумал Андрей Петрович.

— Еще идея, Андрей Петрович! Разобрать ту стенку и дать сквозной транспорт!

Никогда раньше его не раздражало, что у Федорова толстые щеки и что говорит он, захлебываясь слюной. Но сейчас это вдруг сделалось нестерпимым. Глыба в груди повернулась и уперлась углом в горло. Он принялся усиленно думать о другом. Снова увидел пустынную комнату и одинокую фигуру на кушетке. Лежит там и страдает. Вообразила, что он только и мечтает, как бы ее унижить...

Он даже усмехнулся. Федоров заметил:

— Вы сомневаетесь! Сейчас измерю шагами...

Да, в нем не было нежности. Но разве иначе он мог бы делать свое нечеловечески трудное дело?! Она должна это понимать, вместо того чтобы лежать там и пережевывать, когда он не поздоровался, когда оборвал, когда не ответил. Негодует, мучается, сердце как-то там реагирует, начинаются всякие гипертонии... Он вдруг так ясно увидел этот красный живой комочек, который судорожно сжимается от одного грубого слова, что ощутил его в своей груди. И тотчас испытал пронзительную боль.

Он прислонился к стене, прикрыл глаза. «Неужели от простуды?» — подумал он, еще не понимая, что происходит. И, злясь на себя, грубо прервал тараторившего Федорова:

— Фантазируете! А как трудоустроить рабочих на время ремонта? Подумайте и завтра доложите.

Федоров от удивления выпучил глаза, и лицо его сразу стало глупым.

Директор повернулся и тяжело и прямо пошел прочь. Перед кабинетом задержался, спросил секретаршу:

— Зубцова, Анна Ивановна. Знаете такую?

Она преданно посмотрела на него своими бесцветными глазами, стараясь понять, какого ответа он ждет. И не поняла. Его сильное лицо с крупным, мясистым носом и твердым взглядом из-под густых черных бровей вдруг показалось незнакомым — что-то мягкое, растерянное, даже незначительное было в нем. У нее защемило в груди.

— Зубцова, как же! Химик из технологического. А что, Андрей Петрович?

— Ничего. Стало быть, знаете... — Он странно поморщился.

— Вот что, — категорически сказала она, — вам время ехать обедать.

— Время, время, — машинально повторил он и вошел в кабинет.

Черт возьми, что с ним сегодня? Может, просто старость? Старость, которая обрушивается на тебя внезапно в разгар благополучия. И сдало сердце. Кажется, все началось с утренней ссоры с соседним директором. Потом эта нелепая история с Зубцовой... Да нет, сентиментальная чепуха! Нужно смотреть в правде в глаза. Просто у него грудная жаба, стенокардия — профессиональная болезнь директоров. Эта мысль принесла облегчение — так было понятнее. Он исчерпал резервы. Ведь он не жалел не только других, но и себя.

Он ясно увидел свой первый кабинет после демобилизации. Посреди тайги стол из неструганных досок, полуприкрытый кумачом с отстиранным лозунгом. И ночь! Знаменитая ночь, когда был спасен котлован и вся стройка. Половодье размыло дамбу. Казалось, воду не остановить. Шестнадцать часов вода легко сносила все, что швыряли на ее пути. Люди измотались и отчаялись. Он собрал их вот так — в кулак. И всю ночь, еще шестнадцать часов, пробыл с ними по пояс в ледяной воде, заделывая брешь. Поставил на дамбе МАЗы, они светили фарами в котлован. Вода чернела и рябила, как нефть. Со всех сторон только одно: «Давай! Давай! Давай!» Наверняка не одного он обидел в ту ночь. А если бы он пожалел тогда триста человек? Или хотя бы одного?

И воду остановили. И на том месте теперь стоит завод! Что же важнее? Да разве с ним кто-нибудь считался? Его доля была легче? Как он жил все эти годы?

Андрей Петрович стал думать о семье, с которой столько лет жил врозь. Когда приезжал с очередной стройки в Москву, чувствовал себя в своей квартире на Арбате гостем. Всю жизнь после войны, по существу, он был одинок. Жена как-то сказала ему, что он очерствел, что все друзья отошли от него. Что так жить нельзя. Нельзя!.. В животе, где-то у самой спины, снова зашевелился холодок. И возник ужас. Он стал ждать боли.

Но боли не было. А был сплошной, все заполняющий ужас, какого он дотоле не знал.

— Что, что, почему? — беззвучно шептал он. — Неужели жизнь, награды, душевное спокойствие — все неправомочно? — Ноги ослабли и противно задрожали. Стало тошнить. Бред! Обыкновенный сердечный припадок...

Он прижался лбом к стеклу. Главное — устоять. И смотреть, смотреть сквозь пелену. Вон из склада. Идет. Снабженец. Читает. На ходу. Накладную. Спешит. У него все работают. Без нежности. Без дамских шуточек. Подумаешь, одиночество. Сердце не терпит одиночества. Не может в одиночестве? Ему нужна нежность. А нежность — это что? Соприкасание сердец. Кто это сказал? Или же он сам только что придумал? Нет, нет, нет, он жил правильно. Что перевешивает на весах истории — этот завод или Анна Ивановна Зубцова?

Постепенно страх рассеялся. Пелена исчезла. Между высокими корпусами на асфальте ярко и жарко горел солнечный треугольник. Как в детстве, потянуло на горячий асфальт босиком...

В кабинет заглянула секретарша.

— Машина у подъезда, Андрей Петрович.

Он с удивительной легкостью спускался по лестнице. На повороте из широкого окна ударило солнце. Задержался, жмурясь и грея лицо. Там, за окном, ярко-оранжевый кран тянул гусиную шею, и в клюве у него покачивалась розовая плита.

— Законно! — прохрипел кто-то рядом.

Рабочий в замазленной спецовке, по-обезьяньи оттопыривая нижнюю губу, щурился на стройку. Он даже не взглянул на директора. И Андрей Петрович подумал, что, в сущности, этому рабочему завод тоже дороже, чем он, директор, Андрей Петрович, со всеми его переживаниями и страданиями... И впервые в жизни он испытал острое чувство ревности. И понял, что ревность — это тот же страх перед одиночеством.

Теперь он знал, что припадок непременно повторится. Он быстро шел к выходу, непривычно высоко неся голову. Но ему никто больше не встретился.

Он сел очень прямо рядом с шофером.

— Обедать? — услужливо полуобернулся шофер.

Но Андрей Петрович почему-то боялся взглянуть в его веселые темные глаза, таящие безразличие. Шофер, не получив обычного кивка, удивленно повернулся всем туловищем.

Андрей Петрович застыл, напряженно выпрямившись, мучительно вспоминая надпись на смятой бумажке, оставленной у него на столе девушкой. Было как в детстве, когда во сне глотаешь что-то круглое, огромное и никак не можешь заглотнуть. «Большому расти!» — говорила бабка. Перед ним на миг мелькнула

ее высокая грузная фигура с мужским лицом. Наконец он вспомнил название улицы, номер дома... Квартира? Номер квартиры! Скорее! Иначе... Иначе произойдет нечто страшное... Мысли начали путаться. Вдруг он подумал, что сила, которая так давит, так распирает ему грудь изнутри, — это нежность, которая копилась все эти годы, которой он не давал выхода, которую скрывал от себя и от других и которая сейчас разрывает ему сердце. Скорее увидеть ее лицо, узнать — и все еще обойдется. Но квартира не вспоминалась, а времени уже не было. «Ну ничего, я найду, я разыщу, — не то думал, не то шептал он, — пусть только дождется».

— К Зубцовой! — сказал он очень громким тонким голосом.

Он еще назвал улицу. И когда машина мягко тронулась, медленно стал откидываться на спинку. Внутри что-то отпустило. И точно волна хлынула из сердца, обжигая грудь. Сделалось легко. Он все отклонялся назад. А спинки все не было и не было. И он все опускался и опускался навзничь.



Утром того дня, когда произошло несчастье, они столкнулись в коридоре комбината. Завидев Семенова возле ламповой, Баранцев поспешно отвернулся и стал рассматривать какой-то плакат на стене. Но опоздал. Семенов уже шел прямо на него, вызываясь усмехаясь:

— Товарищ врач, разрешите должить, у меня на участке вчера один крепильщик три раза чихнул.

Баранцев заставил себя улыбнуться:

— Наконец-то — забота о людях... Пришлите его в здравпункт.

— А план кто будет выполнять?

— Не могу же я его заочно лечить, — сказал Баранцев, с трудом сдерживаясь.

— Сами таблеточку в забой занесите. Заодно опять поучите, как уголек рубать.

Баранцев собрался ответить шуткой. Но, взглянув в насмешливо прищуренные глаза, вдруг задохнулся и сдавленно проговорил:

— Сейчас же пришлите его, сейчас же...

Семенов подмигнул подошедшим товарищам и засвистел.

— Вам плевать на людей! — быстро и горячо заговорил Баранцев. — Они у вас боятся пойти к врачу. Не имеете права! Как хозяйчик...

Семенов побледнел.

— Посторонитесь-ка, — тихо сказал он, — вы за нас денег не заработаете.

— А! — закричал Баранцев. — Деньги выколачиваете! За счет здоровья товарищей! Планом прикрываетесь!..

Весь день потом Баранцев придирался к фельдшеру по пустькам, так что старик в конце концов обиделся.

— Трех врачей на шахте пережил, все были мной довольны. А тут, подумать, не на то окно банку поставил. Пожалуйста, переставлю, нетрудно...

Баранцев краем глаза увидел его коричневые трясущиеся руки и, злясь на себя, чувствуя, что дня, часа не может больше оставаться среди этих людей, выскочил в коридор и побежал к начальнику шахты.

Тот писал, низко наклонив над столом большую круглую голову. Не разгибаясь, исподлобья поглядел.

— Происшествие?

— Ухожу! Завтра же ухожу с шахты!

— В декрет, что ли? — сочувственно спросил начальник, продолжая писать.

— Вам смешно? Врач на шахте никому не нужен. Вам нужны Семеновы. Ради чего здесь все делается? Человек? Черта с два. Деньги! Заработать побольше! Вроде Семенова! Которые губят в человеке... Человеческое...

— Что это вы с Семеновым все лагаетесь? — поморщился начальник. — Будто враги.

— Враги! Вот, вот! Враги! — обрадовался слову Баранцев.

Он уже не мог остановиться. Он бросал начальнику несвязные, горькие, наболевшие слова о том, что люди здесь думают только о себе, о своем благополучии, о своем кармане, что во все высокие и красивые понятия уже никто не верит и все притворяются.

Начальник осторожно отложил перо и выпрямился. Но тут зажужжал телефон. Не спуская глаз с Баранцева, он взял трубку.

— Что? Повтори. Сейчас узнаю. — Встал, положил трубку на стол. — Странно... — тихо сказал он Баранцеву, точно тот мог слышать другую часть телефонного разговора. Потом, с усилением возвращая себя к предыдущему: — Сейчас, доктор, договорим. — И быстро вышел.

Баранцев только того и хотел: договорить. Не замечая, что что-то случилось, он бегал по кабинету и повторял про себя все, что бросит в лицо невозмутимому и самодовольному начальству. Он вспоминал, с какой чистой радостью ехал сюда год назад, после института. Грудь разламывало от любви к людям. Что он получил здесь в ответ? Откровенную издевку. С первых дней. С самого первого спуска в шахту.

Тогда каждая треснувшая балка крепления, каждый сломанный поручень, выхваченные лучом лампы, пронизывали его болью. Вначале он всякий раз вытаскивал блокнот и торопливо записывал. Но вскоре сбился, запутался в переходах. Равнодушные сопровождавшего его фельдшера бесило.

— Смотрите же, гвоздь торчит! Кто-нибудь напорется!..

— Да, непорядок, — качал головой фельдшер и спокойно шел дальше.

Фельдшер привел его в дальний забой. Откуда-то сверху сочилась вода, лилась за ворот, хлюпала под ногами. В глубине забоя тускло поблескивал жирный угольный пласт. Несколько

человек в мокрых комбинезонах, сидя на корточках, возились у какой-то машины.

— Наш новый доктор! — громко объявил фельдшер.

Шахтеры, спеша, орудовали ключом и ломом и, не обращая на них внимания, бранились.

— Самый знаменитый человек на шахте! — зашептал фельдшер, указывая на Семенова.

Баранцеву захотелось немедленно сделать что-нибудь для этих людей — внести сюда кусочек живого солнца, свежий запах тайги...

— Плохо тут у вас!

Семенов поднял голову, внимательно поглядел на него.

— Форточку забыли открыть!

— Какую форточку? — не понял Баранцев. — Надо осушить забой. Организовать проветривание. Освещение дать хорошее. Есть же правила...

— Помощь явилась! — насмешливо буркнул Семенов, продолжая работать.

— Можно ведь сделать канавки для стока! — радостно предложил Баранцев.

Семенов встал и, глядя в сторону, угрюмо сказал:

— Идите, доктор. Не мешайте людям деньги зарабатывать.

От обиды у Баранцева застучало в висках.

— Деньги?! Я вам про человеческие условия, а вы — «деньги»!

Он резко повернулся и стукнулся обо что-то каской. Ему показалось, что сзади засмеялись.

Баранцев отправился к главному инженеру поговорить обо всех торчащих гвоздях и сломанных досках.

И начались у него бесконечные споры и ссоры из-за этих гвоздей, поломок и сквозняков.

— Послушайте, надо понимать: это шахта, а не часовой завод! — устало говорил ему главный инженер.

Но Баранцев не хотел этого понять.

Почему-то получалось, что чаще всего он сталкивался с Семеновым.

Как-то он пришел в забой сразу после взрыва. Еще издали увидел: едва отгрохотало, Семенов выскочил из ниши и весело крикнул:

— В темпе, ребята!

И, не ожидая, пока забой проветрится, не обрушив нависших после взрыва кусков породы, шахтеры ринулись к углу.

— Стойте! Нельзя! Против правил! Запрещаю! — высоким голосом кричал Баранцев, расставляя руки и пытаясь их задержать.

Его просто смели с дороги. Заскрежетал транспортер. И пошел из забоя уголек.

Баранцев пожаловался в шахтком. Но шахтеры ввалились на заседание гурьбой и отстояли Семенова.

— Я же о вашем здоровье! За вас бьюсь! — кричал Баранцев.

Но ему казалось, что он бьется о глухую стену, что деньги, заработок превратились для этих людей в высшую цель. И он чувствовал себя среди них чужим и чуждым со своими порывами и призывами.

Баранцев все бегал по кабинету, повторяя свои горькие доводы и обвинения, и до него не сразу дошел шум за дверью — голоса и топот.

Начальник из коридора на ходу крикнул ему:

— Носилки на третий горизонт!

Потом Баранцев не мог вспомнить, как очутился в клетки. Он, кажется, ни о чем не думал, пока клеть бесконечно ползла вниз.

В шахте было тревожно. У главного поста все время звонил телефон. Дежурный, надрываясь, кричал в трубку:

— Вышли! Не слышно? Вышли, вышли!

Несколько человек у нагруженных вагонеток тихо переговаривались. И когда Баранцев не сразу уложил в вагонетке носилки, бегом бросились помогать. Состав со скрежетом и грохотом помчался по штреку.

У металлических стоек рельсы кончились. Здесь собралась толпа. Все молча смотрели на дверцу высоко под самым сводом. Вот она отворилась, оттуда наклонился начальник, осветил вниз на стремянку.

— Сюда, доктор!

Метров двадцать пришлось ползти на животе. Впереди тяжело, с хрипом дышал и кряхтел начальник. Всякий раз, передвигнувшись и подтягивая носилки, Баранцев приподнимал голову и больно ударялся о верхнюю балку. Сделалось нестерпимо жарко, пот заливал глаза. Наконец начальник перед ним выпрямился. Они выбрались в лаву.

По крутому, засыпанному углем склону к ним осторожно спустился маленький инженер по технике безопасности. Начальник вопросительно посмотрел на него. Тот показал головой вверх.

— Жмет. Как никогда.

Где-то там пронзительно завизжала выворачиваемая балка. Потом глухо стукнула.

И Баранцеву стало страшно. Он ощутил на плечах невероятную тяжесть земной громады. Захотелось мгновенно очутиться наверху, где солнце, и высокое небо, и ветер.

— Никого туда не пускать! — сказал начальник и оглянулся на Баранцева. — Пошли.

Там наверху, у края щели, где шла добыча, придавленный балкой, лежал Семенов.

Сперва Баранцев увидел на белом лице в глубоких провалах огромные оранжевые зрачки. Потом все тело. Вдавленное в землю, оно билось мелкой, равномерной дрожью.

Острый конец сломанной балки пробил мышцы ноги, пригвоздил Семенова к земле. Другой конец балки краешком зацепился под сводом. Громадная глыба рухнувшей породы чудом держалась на этой наклонной балке. Дернется ли посильнее Семенов, стронется ли балка — конец.

Рядом на корточках сидел шахтер и крепко держал Семенова за руку. Несколько человек молча стояли поодаль, пригнувшись.

А титанические силы продолжали свою работу. В земной толще перемещались гигантские пласты. Через какую-то щель над головой с непрерывным шорохом сыпались и скатывались кусочки породы. И вот где-то неподалеку тихо и тонко запел сверчок.

— Сейчас крайнюю вывернет! — охнул кто-то рядом.

Баранцев почувствовал, кто-то ему больно сжал локоть. Начальник спросил чуть слышно:

— Ну? Что делать?

И вдруг он увидел, как оранжевые зрачки Семенова остановились на нем, черные, закушенные губы дрогнули. И скорее угадал, чем услышал:

— Принес... таблеточку... — И дуновение улыбки пронеслось по белому, точно окаменевшему лицу Семенова.

И, не рассуждая, движимый горячей волной любви и жалости, Баранцев бросился к нему.

С неожиданной для себя ловкостью и четкостью, будто тысячу раз делал это, разрезал резиновый сапог, одежду, обнажил рану.

Он слышал, как притихли вокруг, как все пронзительнее пел рядом сверчок. А люди смотрели, боясь шевельнуться. Теперь под нависшей качающейся глыбой были двое.

— Режь, доктор! — шептал Семенов, как будто продолжая улыбаться. — Напрочь!

Но точно кто-то посторонний водил рукой Баранцева. Он осторожно отделял размозженные ткани, старался не перерезать ни одного лишнего волоконца. Сохранить ногу! Сохранить ногу! — властно диктовало ему изнутри. Мельком он увидел белки закатившихся глаз, как издали услышал долгий, вырванный болью стон сквозь зубы. Глухой шум возник над ним и стал расти.

Кто-то шептал сзади:

— Скорее, скорее!..

И еще он видел две руки, сцепившиеся пальцами, судорожно,

на смерть, грубыми, потрескавшимися пальцами, покрытыми угольной пылью. Это товарищ продолжал держать за руку Семенова.

Последний разрез, чтобы развести мышцы, освободить ногу. — Бери! — услышал он собственный голос.

Осторожно, страшась задеть балку, подняли и понесли. Там, внизу, у выхода из лавы, он видел, как ринулись вверх по склону шахтеры, по двое, неся наперевес короткие столбы подпорок, точно снаряды в бою.

— Становь! Становь! — командовал громкий голос начальника.

Носилки стояли на земле в ожидании клетки. Семенов лежал молча, с закрытыми глазами, морщась от боли. Баранцев, безмерно уставший, безразличный ко всему, стоял в стороне, прислонившись к холодной стенке. Только старичок фельдшер все суетился и снова и снова рассказывал подходившим шахтерам:

— Конечно, тут бы просто отрезать. Скорее. А он аккуратно. И будет нога! Будет ходить! А глыба-то как качается! Ох, думаю, сейчас рухнет, ведь что — мокрое место! — И влюбленными глазами смотрел на Баранцева.

Товарищ Семенова стоял рядом с носилками, то и дело вытирая рукавом пот со лба, оправдываясь, говорил кому-то:

— Да я и не просил... Поспешил он, поторопился...

«За деньгами поторопился!» — привычно подумалось Баранцеву.

— Постой, постой! — перебил кто-то парня. — Так он же не на твоём участке рубает...

— Вот, вот, в том и дело! Я же еще ему: «Не надо, — говорю, — иди». Он в нижнем забое рубал. А пришел поглядеть. Я у него раньше робил. Ну, учил он меня... Вторую неделю как самостоятельный участок дали. Переживал за меня... — Парень растерянно оглядел собравшихся. — Участок-то трудный, больше крепишь, чем рубашь. Не даем и не даем плана, хоть ты что! А тут стойка эта как запоет. Я еще говорю: «Проклятая, опять ее менять». А он мне: «Давай, — говорит, — рубай, я сменю». Стал менять. И вдруг слышу, за спиной у меня как ударит... Не успел он, значит, достала...

Стукнула в пол опустившаяся клеть. Звякнула загородка. Шахтеры подняли и установили носилки.

В темной клетке, как обычно, все молчали. В тесноте Баранцев спиной ощущал чей-то локоть, кто-то дышал ему в шею, сам он лицом уткнулся в чей-то холодный и шершавый брезентовый ворот. Клеть, подрагивая, поднималась медленно, почти торжественно. Впрессованный в гущу этих людей, Баранцев, как никогда раньше, почувствовал себя частицей того громадного человеческого организма, в который слились все они, сбитые сейчас

в клетки. Он вдруг заметил, что полон какой-то безотчетной, детской радости. Захотелось громко говорить и смеяться. Ему стало казаться, что, несмотря на темноту, все видят его радость, и понимают, и разделяют. И чтобы убедиться, не сомневаясь, что ему ответят, он громко произнес бессмысленную фразу:

— Ну что, ребята, нормально?

И действительно, кто-то тотчас отозвался в темноте хриплым басом:

— Порядок, доктор!

И оттого, что он не ошибся и что его узнали по голосу, он засмеялся от удовольствия.

Он стал искать причину этой радости. И ясно вспомнил миг, когда это в нем началось. Нет, не тогда, когда он бросился к Семенову. И не тогда, когда услышал его благодарный шепот. Нет! Это началось в тот миг, когда он увидел паренька, который остался рядом с Семеновым под качающейся, готовой ежесекундно сорваться громадой, остался только ради того, чтобы быть рядом, чтобы держать его за руку. Да, да, именно это рукопожатие и было так прекрасно, ибо оно было бесполезно! Вот что его озарило.

Как только он вспомнил и понял, волнение, охватившее его, сразу улеглось. Он почувствовал, что очень устал. Пришли мысли о том, что амбулатория тесна и плохо оборудована и что надо бы съездить в область, выпросить денег и штаты, и что хорошо бы раздобыть новую мебель, какую он видел в областной больнице.

В клеть сверху ворвалось горячее, живое солнце, в открытую дверь стволовой будки от тайги повеяло острым, свежим запахом можжевельника.

Носилки понесли к машине.



Ог знакомого стука в дверь сердце у Кати оборвалось. Господи, значит, она все-таки надеялась, что Валерий не придет, что все само обойдется и устроится! Она представила себе лицо, с которым он сейчас войдет, и от мучительного стыда за него ей захотелось зарыться головой под подушку, исчезнуть.

Валерий вошел как ни в чем не бывало.

— Угостишь чайком? — привычно сказал он, подсаживаясь к столу и вынимая карманные шахматы.

Катя, страшась взглянуть ему в глаза, стала наливать чай. Валерий высыпал в горсть фигуры, принялся методично вставлять их в гнезда. Катя подала чашку, подвинула сахарницу. Он аккуратно опустил кусочек сахара, бесшумно помешал. Положил ложечку на блюдце.

— Мой черед белыми. — И осторожно переставил королевскую пешку.

Катя машинально взялась было за фигуру, но уронила руку, отвернулась.

— Ну? — сказал Валерий.

Голос Валерия прозвучал жестко. Лицо его было бесстрастно, губы плотно сжаты. Мужественное, суровое, красивое лицо.

— Это что, демонстрация?

— Я... я не понимаю тебя, Валерий... — прошептала Катя.

— Два дня, как появилась статья в многотиражке. Два дня я ждал, что зайдешь, позвонишь...

— Не могла я. — Катя виновато опустила голову.

— Конечно, это ведь не в кино, не на лыжи! — криво улыбаясь одним ртом, проговорил Валерий. — Прийти к человеку, когда у него неприятность, — не развлечение. Но я рассчитывал на твою память. Те, кто писал статью, меня не знают. А ты! Или ты уже забыла?

У Кати перехватило горло. Нет, она ничего не забыла! Она отлично помнит то ужасное утро, вскоре после своего приезда сюда на работу, когда сгорел трансформатор...

...Снаружи о мокрое стекло безнадежно билась ветка березы с грязно-желтыми листьями. Катя в пальто и шляпке, как ее настиг телефонный звонок Сергея Ивановича, сидела посреди ком-

наты на стуле, уронив руки, и неотрывно смотрела в окно. А в ушах все звучал сухой, официальный голос главного энергетика, разом отрезавший ее от работы, от людей, от жизни: «Вы отстраняетесь от работы до конца расследования». В сотый раз Катя мысленно перебирала все обстоятельства, все возможные причины аварии — вины ее не было. И все-таки было непереносимо больно и стыдно. Самое неприятное в ее переживаниях было чувство вины без вины. Потому что трансформатор все же сгорел. Потому что шахта из-за этого простояла почти сутки. И потому еще, что эти дни во всех углах и домах поселка, обсуждая аварию, люди, конечно, повторяют одно и то же: понятное дело, бабе дозерили такой участок!

Ветер донес от ствола шахты продолжительный звонок — пошел на-горá уголь. Звук этот пронзил сердце. Катя вскочила, схватила с полки какую-то книгу, стала листать, не видя.

Баба! С этого началось, когда нынешней весной она приехала сюда по распределению и сидела в приемной начальника шахты. Путевку ее секретарша давно передала начальнику. То и дело в кабинет торопливо входили разные озабоченные люди. А ее все не вызывали. Из-за тонкой двери доносился гул голосов. И она разобрала кем-то громко и сердито произнесенную фразу:

— С ума они спятили в управлении — энергетиком на шахту прислать бабу!

Потом ее пригласили в тесный прокуренный кабинет с обшарпанным столом и разными стульями. От обиды и волнения у нее туманилось в глазах. Мужчины сидели и стояли потупившись. Начальник, не глядя, пожал руку, указал подбородком:

— Главный энергетик. Покажет участок. Сергей Иваныч, устрой там с квартирой что надо.

Сейчас, вспоминая это ужасное «отстраняетесь», сказанное только что Сергеем Ивановичем, Катя думала о том, что этому человеку, задавленному заботами на работе и дома — у него недавно умерла жена, и на руках остались три сына, — совсем не до нее, он, может, и не хотел обидеть... Да и не только ему, всем здесь, кажется, было не до нее.

Катя зажмурилась. И так ей захотелось открыть глаза и увидеть себя дома, рядом с мамой, увидеть ее веселые глаза. И чтобы за окном не глухая синяя стена тайги, а солнечная рябь. Оки с озорными гудками пароходов, с белыми бурунчиками от юрких моторок, с тенистыми яблочными садами на высоком берегу...

В дверь твердо и деликатно постучали. Катя зло подобралась и вызывающе, рывком отворила дверь.

— А чаем тут угощают? — радостно сказал он, не переступая порога.

В сумрачной комнате будто посветлело от его выгоревших волос, от ярких синих глаз, от плечистой фигуры, дышащей здоровьем и силой.

Это был начальник смены Валерий Троицкий. Он окончил институт года на три раньше Кати и проживал холостяком в том же доме, этажом выше. Катя видала его только на планерках, где он иногда выступал, кратко и толково. Что-то, однако, отгораживало Катю от него. Катя постоянно сомневалась в себе. Люди, в которых она обнаруживала склонность к сомнениям, были ей понятны и казались ближе. А Валерий с его непоколебимой уверенностью в каждом своем слове, в каждом движении был точно какой-то другой породы.

— Плитка перегорела! Куда пойти, если не к энергетикам? — сказал он, входя наконец в комнату.

Только тут Катя заметила в руках у него кусок копченой колбасы в бумаге и булку. В ней заговорила хозяйка, и она принялась накрывать на стол.

— Вот спасибо, привык перед сменой чайку похлевать! — приговаривал он, как-то особенно аппетитно откусывая и запивая.

Вначале Катя ежесекундно ожидала насмешки и оскорбления. Но он так просто и прямо спросил:

— Небось переживаете из-за аварии? Конечно, неприятно. Я знаю, после института первая неприятность на службе как катастрофа. Но все знают: вы тут как ворона в суп! А расследование — формальность. Отчитаться-то надо, что меры приняты.

И внутри у Кати пружинка распустилась. А когда он в восторге закричал: «Крыжовенное варенье! Ура! Сто лет не ел!» — она и вовсе повеселела.

— Мама прислала. Из нашего сада.

И вдруг поняла, что еще не ела и ужасно голодна.

Прошло несколько дней. Валерий навещался то одолжить сахару, то вернуть. А когда при разборке сгоревшего трансформатора в масле была обнаружена обугленная тряпка, Валерий прибежал к ней с этим известием, запыхавшись, радостно барабанил в дверь и крича еще с площадки:

— Все! Конеч! Тряпка! Эта тряпка всем рты заткнет!

Действительно, причина аварии определилась: горящая тряпка попала в масло через вентиляционную трубу. Не раз на планерке говорилось о том, что выходное отверстие нужно огородить, закрыть решеткой. Катя дважды писала докладную. Руки у начальства не доходили...

— Кто же это мог сделать?! — ужаснулась Катя. — Нечаянно или нарочно?

— Ну, забота не ваша! Пусть следователь тут себя покажет!

А то подумаешь — заслуга: свалить на девчущку, засудить и отчитаться! Пусть теперь попотеет!

Валерий радостно хохотал. А Катя подумала, что, в сущности, он ей единственный друг. Она должна это ему сказать. И, преодолевая смущение, краснея до слез, заставила себя смотреть ему в глаза, когда произносила:

— Я никогда не забуду, Валерий... Один, когда все, когда никто...

— Да уж верно, друзей узнаешь в беде! — с удовлетворением сказал Валерий, потирая руки.

Катя помнит, что в тот миг ей почему-то стало не по себе. То ли жест этот ей был неприятен, то ли в словах его был какой-то второй смысл... Она не успела задуматься.

— Катя, у вас же двойной праздник! Отметим завтра седьмое ноября, как полагается. Лыжная прогулка! А? Снег отличный. Места покажу сказочные. Горки — на любой вкус.

— Ой, я же плохо катаюсь! — радостно воскликнула Катя. — И ни ботинок, ни лыж!..

— Достану, все достану! Какой размер ноги? Тридцать семь?

— Тридцать пять, — смутившись, сказала Катя и поджала ноги под стул.

— А-а... — тоже почему-то смутившись, протянул Валерий. — Ну, так я с утра зайду, часов в восемь.

Едва он ушел, позвонил Сергей Иванович и веселым голосом как ни в чем не бывало сказал:

— Дронова, насчет тряпки слыхала? То-то... Надоело дома сидеть? Ладно уж, завтра празднуй. А восьмого выходи на дежурство.

Еще многие звонили ей и каждый спешил сообщить об этой злополучной тряпке. И шутили. И смеялись. И поздравляли. И было понятно, что они стыдятся за себя и просят прощения.

Катя думала, что не заснет в ту ночь. Но едва прикоснулась щекой к прохладной подушке, как почувствовала, что засыпает впервые за много дней с легким сердцем.

А седьмого ноября наступил тот день, о котором она долго потом вспоминала то с радостью, то с болью.

Проснулась разом, точно сквозь закрытые веки ослепило солнце. Но солнца в комнате еще не было. Только за окном на светлосинем небе четко рисовалась черная ветка березы и на ней горсть розового снега. Вскочила, умылась ледяной водой. Приготовила чай. И откровенно радовалась, что готовит на двоих. И дивилась этой радости.

Валерий пришел ровно в восемь. Притащил лыжи с ботинками, баночки с лыжной мазью. В комнате по-студенчески запахло дегтем и рыбьим жиром. Кате нравилось, как он, подгоняя крепле-

ния, ловко орудует отверткой, отрываясь, чтобы глотнуть чаю, откусить от ломтя хлеба с маслом. Правилась уютная суета сборов, которой наполнилась комната. Ей все нравилось в то утро.

Через пушисто-белое поле он вел по целине. Шел широко, мощно, с хрустом продавливая снег. Солнце поднялось над верхушками черно-зеленого леса и щедро светило в лицо. Морозный воздух был свеж и чист. И сердце у Кати заливало радостью.

А когда они вошли в лес и сквозь медные стволы сосен вышли к обрыву и далеко впереди и внизу открылись бесконечные перепады, перепады и взлеты тайги со снежными полянами, еще лиловыми в тени, и это раздолье все шире и шире окатывало малиновой дымкой, в которой дрожали мириады алмазных игл, Катю охватил такой восторг, что захотелось заплакать от невозможности остановить, запечатлеть, унести с собою эту красоту.

Скоро лес наполнился голосами, смехом, скрипом лыж. То и дело встречались знакомые.

— С праздником! — кричали они, обгоняя на лыжне, срываясь по склонам горок. И Катя улыбалась всем встречным и с готовностью вторила, ликуя:

— С праздником!

Валерий привел ее к невысокой, но такой крутой горке, что на ней никто не катался. Снизу это выглядело еще не так страшно. Но когда она поднялась на гребень и глянула вниз, сердце у нее екнуло и остановилось.

Валерий зажал палки под мышками, слегка пружинисто присел и обрушился вниз. На прямой устоял. Взметнув облако снега, круто завернул и побежал к подножью, гулко хлопая лыжами.

— Спускайтесь, я подстрахую!

Ярче всего Катя запомнила именно это мгновение. Вот эту секунду на вершине под чистым, высоким небом, над алмазно сверкающей пропастью. Секунду неподвижности, с остановившимся сердцем и дыханием, со сладким ужасом от уверенности, что сейчас кинется туда. И его поднятое вверх напряженно улыбающееся лицо.

На самом спуске она неожиданно почувствовала устойчивость. И успела насладиться скоростью, ветром, послушанием тела — всей гармонией спуска. Но выход на прямую был чересчур резок. Ноги стали уходить. Катя завизжала. Вдруг лыжи разом затормозило. Швырнуло вперед. Катя уткнулась лицом в колючий свитер. И он с силой прижал ее к себе.

Она забарахталась, засмеялась:

— Ох, не упаду, не упаду! Отпустите же!

Валерий молчал и только крепче и крепче прижимал ее голову к груди. Кате стало тяжело и душно. Замерла, боясь пошевелиться. Все это продолжалось миг. Он разжал руки. Она отстрани-

лась. Встала на колено и, пряча пылающее лицо, стала поправлять крепление. Валерий отъехал, сказал, разглядывая склон:

— А с той стороны не так круто.

— Нет, нет, довольно, натерпелась страху! — и Катя побежала к лыжне, уходящей к широкой впадине, где катались остальные и где было шумно и весело.

Возвратились они часа в четыре, когда солнце уже садилось, усталые, голодные, довольные. Отдав лыжи и ботинки, Катя стояла в коридоре в шерстяных носках, не доставая ему до плеча. И они все никак не могла разойтись, вспоминали и пересказывали друг другу события сегодняшнего дня.

А потом Валерий принес вот эти карманные шахматы, которые она вскоре возненавидела. Потому что он постоянно выигрывал. Со снисходительно безразличным лицом. Катя постоянно ощущала свою слабость и неполноценность рядом с ним. И когда Валерий терпеливо учил ее тонкостям игры, за этим угадывалась какая-то цель, постичь которую она не умела...

Да, Катя ничего не забыла. Она решительно отодвинула доску.

— Не хочу играть! И никогда не хотела. Зачем ты меня заставляешь?

Он пожал плечами.

— Рассчитывал сделать из тебя хорошего партнера.

— А, вот оно что...

— Да, статья подействовала даже на тебя. Отличная статья.

— Газета ни при чем.

— Однако твое отношение ко мне изменилось, Катя! Ты считаешь, что все написано правильно?

— Не знаю. Может быть, они преувеличили. Слишком резко и грубо. Какое в общем это имеет значение? Я не могу забыть того, что видела под землей... своими глазами... во время пожара...

...В тот день Катя ждала его с дневной смены, чтобы пойти в кино. Причесывалась перед зеркалом, механически накручивала на бигуди свои шелковистые с тусклым блеском каштановые волосы, подкрашивала чуть раскосые глаза с нависающими веками, за которые в школе ее дразнили калмычкой, и с удивлением отмечала про себя, что абсолютно спокойна, что ей все равно, как ложатся волосы, как выпирают широкие скулы, прежде доводившие ее до отчаяния. А ведь она твердо знала, что сегодня состоится разговор, который решит все. Она знала это по тому, как на них смотрели окружающие всюду, где они бывали вместе. В клубе на танцах ее уже не пригласили — действовало необъявленное табу невесты. Уже и Шарипова, старая ламповщица, принимая у нее лампу после подъема с первого горизонта, где было Катино

энергохозяйство, задержалась у окошечка и, улыбчиво морща коричневое лицо, прохрипела:

— Поздравлять, что ли, Катерина Михайловна?

И хотя Валерий был по-прежнему тактичен, сдержан, не позволял себе вольностей, но он тоже знал и был уверен, и это сквозило в категоричности, с которой он назначал очередное развлечение или объявлял, что придет на часок.

Но радости, захватывающей, как тогда, на гребне горы, радости предстоящего уже больше ни разу не было. Просто все катилось неуклонно по глубокой колее, из которой не вывернуть. И когда, как сейчас перед зеркалом, становилось обидно, что все совершается так просто и буднично, она прятала от себя эти мысли, называла себя холодной и неблагодарной. И все шло и шло к развязке. Но маме она о Валерии почему-то не писала.

Валерий должен был зайти за ней к шести. В четыре позвонил Сергей Иванович:

— Катя, немедленно приходи на шахту! — И бросил трубку.

Из ближних и дальних домов поселка к шахте бежали женщины и дети. На пороге управления ее едва не сбил с ног главный инженер.

— Троицкого видели? — спросил он на бегу.

Катя не успела ответить и похолодела от ужаса. Почему? Она не рассуждала. Она только знала, что в такой момент главный инженер не мог разыскивать начальника смены. И если он спрашивал...

Сергей Иванович в наспех накинутом поверх пиджака ватнике встретил ее в дверях кабинета. Будто издалека услышала его сдавленный голос:

— Катюша, на первом горизонте в южном штреке пожар. Переодевайся, спускайся, обеспечь там свет.

Наверху у клетки дежурила совсем молоденькая девчушка с испуганным лицом. На вопрос Кати, спускала ли она начальника смены, она торопливо ответила, заглядывая в глаза:

— А как же! С час назад! А его и снизу и сверху по телефону спрашивают!

Клеть подняла группу шахтеров, молчаливых и угрюмых.

— Троицкого там видели, хлопцы? — спросила дежурная.

Ей не сразу ответили. Уже входя в клеть, Катя услышала странную интонацию, с которой кто-то произнес:

— Та бачили...

На энергопункте, расположенном недалеко от ствола, ее встретил дежурный техник Твердохлебов. При виде Кати его рыжее от веснушек лицо расплылось в такой безмятежно широкой улыбке, что она оторопела.

— Да вы знаете, что случилось на нашем горизонте?!

— А что, Катерина Михайловна? — поинтересовался Твердохлебов.

— Как что?! В старом забое пожар!

— А-а, это есть. Маленечко горим. Самозагорание... Это бывает, — подтвердил Твердохлебов, снова широко улыбаясь.

Она едва не закричала. Но позвонил главный инженер и голосом далеким, еле слышным объявил, что на участке, где горит уголь, нет света. Нужно срочно послать техника проверить линию.

Твердохлебов, точно проснувшись, вскочил и стал быстро расковырять по карманам инструменты.

— Я с тобой! — решительно сказала Катя.

Твердохлебов молча взял Катин противогаз, повертел в руках, подавил.

— Ладно. Пошли.

В давно заброшенном штреке их встретила грозная тишина. Под ногами в темноте чавкала вода. Изредка раздавался окрик: «Кто идет?», луч света бил в лицо. Из мрака выступал человек, внимательно всматривался и, признав, пропускал. Это были газо-спасатели. Потом воздух как будто стал сгущаться. Сперва Катя заметила это по тому, как укоротился луч света от ее фонаря. Засаднило в горле. Мрак подошел вплотную, стал давить.

— Твердохлебов, аккумулятор садится, видишь, не светит, — проговорила она, изо всех сил удерживая дрожь в голосе.

— Да нет, то дым, — радостно успокоил ее техник.

Некоторое время они шли молча. Вдруг она заметила, что техника рядом нет.

— Твердохлебов! Твердохлебов! — закричала она в страхе.

— Чего? — ответил он сзади. — Коробку смотрю...

Далеко-далеко появилось бледное желтое пятно, быстро приблизившись, расплзлось и внезапно собралось в яркую точку. Совсем рядом высветилось лицо техника, измазанное углем.

— Тут порядок. Пошли дале.

Они снова двинулись вперед.

— А взрыв может произойти? — спросила Катя.

— Бывает, — сказал техник. — Под землей все бывает.

И вдруг Катя честно и прямо сказала себе, что с Валерием случилось самое страшное. Где-то здесь, рядом, в темноте он лежит, задыхаясь, лоя ртом уходящий воздух, разрывая на себе ворот, с оглушительным, долбящим голову стуком в висках. И она побежала вперед, преодолевая одышку и колющую боль в груди.

У развилки они наткнулись на группу людей.

— Дронова, — сказал Сергей Иванович, — возьми Твердохлебова и проверь коробку на левой ветке. Потом... Противогаз с тобой? Потом пойдешь со мной туда, к главному инженеру — там блокируют забой.

Скорее! До коробки шагов пятьдесят... Ну? Она вплотную шарила по стене слабым лучом света. Кто-то стоит рядом с коробкой, вдавившись в неглубокую нишу. И она освещает лицо, изуродованное страхом и растерянностью.

— Я... я коробку... проверить... — выговаривает она помертвевшими губами.

— Проверял я — все в порядке! — В ответе жалкая грубость.

Катя поворачивается, освещает лицо Твердохлебова и понимает, что тот все видел.

— Бывает, — говорит Твердохлебов. — Сергей Иванович ожидает.

Они осматривают коробку и бегут назад к развилке, где главный энергетик уже ладит противогаз.

Все остальное видится ей как в тумане. Бесконечный путь к забою. Душная маска, обжигающая лицо. Клубящиеся дымом желтые лучи шахтерских фонарей, нацеленные на руки каменщиков. И мелькающие в сумасшедшем ритме кирпич, мастеров, кирпич, мастеров. И на глазах вырастающая кладка, блокирующая горящий забой.

Повреждение линии нашли только через несколько дней, когда опасность уже миновала. В те дни Катя вместе с бригадой по две смены не поднималась на-гора. В который раз просматривала все схемы, просчитывала нагрузки, искала упрощения.

А потом вот этот номер многотиражки со статьей о Валерии. Шахтеры обвиняли его в трусости, требовали товарищеского суда...

— Ну что, не будешь играть?

Катя не ответила. Она рассматривала его лицо. Высокий безмятежный лоб. Выступающий подбородок. Сильное, красивое лицо.

Валерий аккуратно собрал фигуры в коробку.

— Ясно. Мне уйти?

Катя все молчала. Какая-то неясная мысль занимала ее.

Валерий поднялся, спрятал в карман шахматы, подошел к окну. Катя невольно поглядела туда же. Ярко-красная ветка березы, сбросившая старые листья, напряглась, набухла, лоснилась на солнце. Видно, там, за окном, уже пахло травой и лесом.

— Неужели я ошибся в тебе? — сказал Валерий, продолжая смотреть в окно.

До сих пор жизнь не требовала от нее никаких решений. Все складывалось само собой. Случалось затруднение — тотчас кто-нибудь являлся на помощь. Раньше была мама. Потом подруги.

Так же как после аварии трансформатора — Валерий. Всегда кто-нибудь оказывался рядом. И все решал за нее.

— Может быть, ты просто не понимаешь, что должна сделать?

И так как она по-прежнему не отвечала, Валерий решил, что догадка верна.

— Я все забываю, что ты еще ребенок! — он присел на подоконник. — Ведь я выполнял твою работу там, внизу.

Она с удивлением взглянула на него. Он не смеялся.

— Да, за тебя я проверял там линию. Потому что это было важнее. Потому что дырку замуровали бы и без меня. И ты должна была пойти в редакцию, в партком, к руководству и рассказать, как было дело. Ты видела меня там, возле коробки...

— Это неправда, Валерий, — прошептала Катя.

— Ты обязана была это сделать! Хотя бы из благодарности за все, что я сделал для тебя!

— Это неправда, — повторила Катя.

— Что неправда?

— Все, все неправда! — сказала Катя и заплакала.

— Ну конечно! — обрадовался Валерий. Соскочил с подоконника, подошел к ней вплотную, взял за руку. — То тебя грызли, теперь за меня взялись. Уедем со мной отсюда, Катюша. Ну их со всеми их делами и претензиями! Выберем хорошую шахту поближе к большому городу. Будет у нас с тобой отличная семья. А, Катюша?

Катя плакала все сильнее, отворачивая лицо. Валерий прижал ее руку к щеке, поцеловал в ладонь. И на мгновение потерял власть над собой, стал страстно целовать ее в шею, в плечи. Но она была так безответна, так горько плакала, что он тотчас же остыл. Отстранился.

— Не понимаю тебя, Катя...

И тогда она заговорила сквозь рыдания, не пряча и не утирая слез, не сводя с него глаз.

— Вечно меня учили: неблагодарность хуже всего. Хуже воровства! Но я не могу так. Не могу! Там, в забое... смертельная опасность... Они же работали! А ты? Я знаю, ты скажешь: к чему? Без пользы взорваться вместе со всеми?! Да? А они? Они обиделись, поэтому про тебя написали. Ты их бросил. Вот что! А, не говори мне про коробки, про линию, про меня... Видела твое лицо там, тогда... Ты их предал! И ничего я не должна! Никому ничего не должна! Неблагодарность? Пускай! И уезжай, если можешь...

— Ты как будто гордишься своей неблагодарностью, — сказал он, усмехаясь.

— Да, я имею право. Потому что ты... Я тебе скажу, кто ты...

— Кто я? Интересно.

Он смотрел на нее пристально, щурясь, как от яркого света.

— Интересно...

Но она никак не могла решиться произнести то, что сейчас должна была сказать.

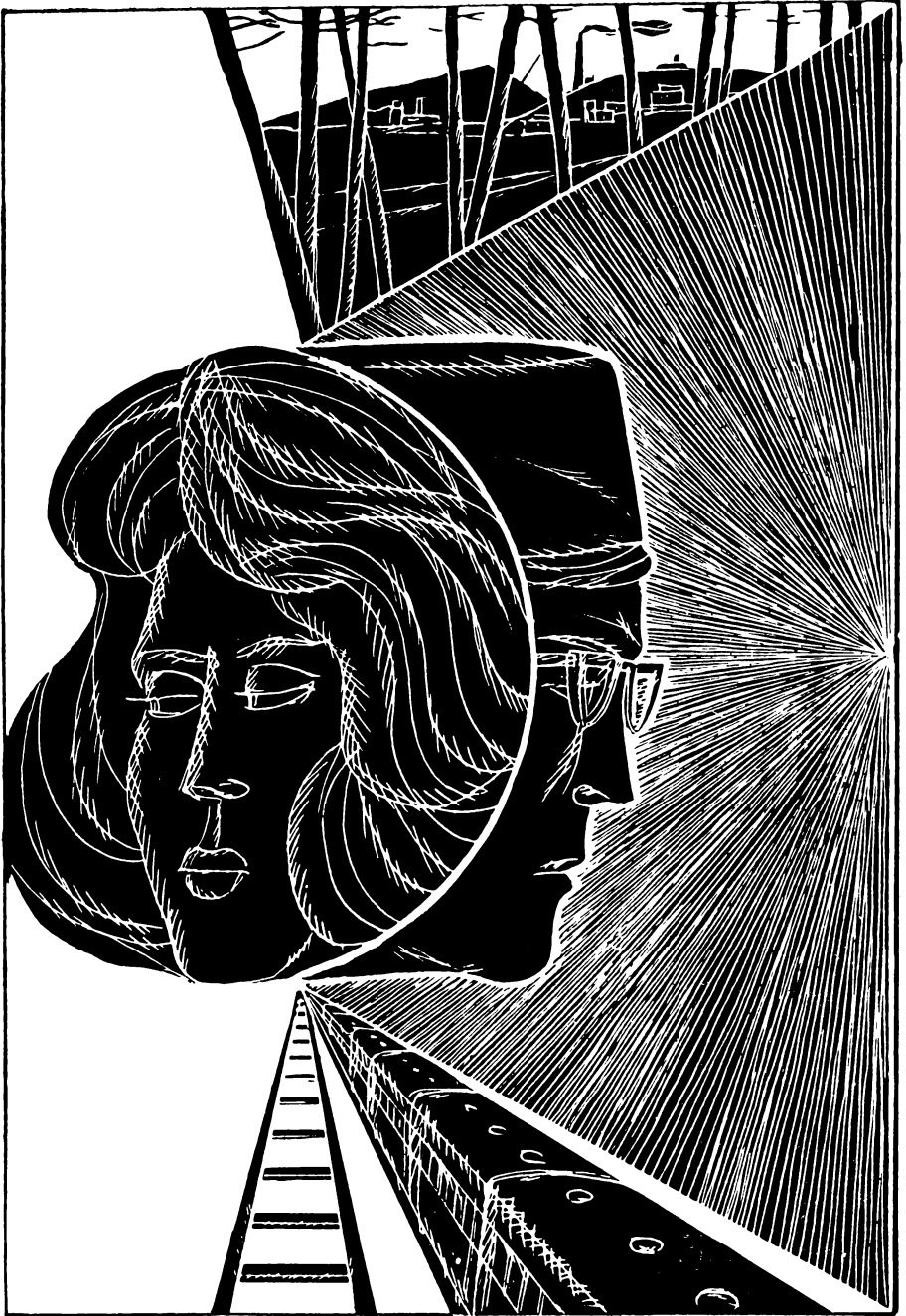
— Лыжи, шахматы, жена, работа — это ты себе устраиваешь жизнь по своему вкусу. Ты... ты никого не любишь, кроме самого себя! — выговорила она наконец.

Он пожал плечами и сказал с откровенным облегчением:

— Страшнее ничего не придумала? Что ж... Без вас проживем, Катерина Михайловна!

Он еще немного подождал ответа. И твердо и деликатно, без стука затворил за собой дверь.

А Катя продолжала плакать, шмыгая носом и всхлипывая.



Последние часы перед Медногорском Ганшин уже совсем не отходил от окна. Прижавшись лбом к холодному стеклу, он напряженно, до рези в глазах всматривался в даль. Но там была все та же бесконечная, унылая оренбургская степь, окутанная снежным дымом. Только изредка внизу, под насыпью, поднимались шапки снега над занесенными избами, чернели, точно червоточины, прорытые в снегу глубокие ходы, да у переездов стлы одинокие бесформенные фигуры, глядящие из-под локтя на проходящий поезд. И сейчас же снова снег, снег в небе, в воздухе, на земле...

«Я был прав, это тоска, смертная тоска!» — в который раз мысленно восклицал Ганшин, воображая себе жизнь в одинокой избе, за обледеневшим оконцем, под неумолчный вой ветра.

Но как ни очевидна была его правота перед Ольгой, с каждой минутой, приближающей встречу, он волновался все сильнее.

Несколько дней назад, войдя в кабинет начальника, Ганшин услышал, как тот почтительно оправдывался в телефонную трубку. Да, да, в Медногорск будет немедленно командирован инспектор. По имеющимся в министерстве сведениям, лечебное дело там действительно поставлено еще слабо... Конечно, отдел запланировал самые решительные меры...

— Какого черта там тянут с открытием нового корпуса больницы! — досадливо проговорил начальник, бросая на рычаг трубку. — А тут за них выговоры получай! Горнорудный комбинат в центре внимания... Придется кому-нибудь съездить на несколько дней, подстегнуть их как следует.

Ганшин перевел дух и сказал безразлично:

— Может быть, мне поехать...

* * *

Весь тот последний год в институте они с Ольгой провели вместе — ходили на концерты, на каток, занимали друг другу места в читальном зале и ни разу не говорили о самом главном. Однажды только, прощаясь, он задержал ее руку и, запинаясь, через силу сказал:

— Оля, скоро распределение. Как же мы?

Но она с таким испугом выдернула руку, так торопливо залепетала: «Нет, нет, молчи, молчи! Мы ведь так все понимаем.

Не порть, пожалуйста!» — что он больше не заговаривал о будущем.

Распределение все смешало: ее оставили в Москве, его назначили куда-то на край земли, в Медногорск.

В коридоре института он отвел ее в уголок.

— А теперь как, Оля?

Она удивленно взглянула на него, с досадой сказала:

— Неужели нужно спрашивать!

Он чувствовал себя несчастным. У других все складывалось так просто. Другие объяснялись, регистрировались, вместе бегали в деканат, обсуждали свои планы. А у них с Олей было так сложно... Она считала, что все между ними должно быть понятно без слов.

Правда, однажды у них с Олей состоялся разговор. Это было на новогоднем вечере. Оле поручили устройство шуточного аукциона, она долго и упорно отказывалась — страшила необходимость целый час находиться на сцене перед полной аудиторией. Но в порядке комсомольской дисциплины ее обязали. И тогда она по горло влезла в подготовку, мучительно придумывала шутки и фокусы, шила какие-то клоунские наряды, составляла викторину, шарады. Всю неделю из-за этого они не виделись, и пропали билеты на концерт, которые он с таким трудом достал.

Он был раздражен ужасно. И, едва дождавшись конца аукциона, который прошел успешно, вытащил Олю в коридор.

Они стояли в углу, за колонной, мимо них сновала шумная толпа. А он шептал ей, срывая раздражение:

— Ну что, довольна? Кому нужны были все эти твои детские выдумки? Никто и не заметил. А кто заметил, уже забыл!

— Тебе не понравилось? — жалобно спросила она.

— Понравилось, не понравилось — какая разница! Мы из-за этого потеряли билеты, концерт, вечер!..

— Но ведь я старалась, я так хотела выполнить поручение...

— Извини, но это просто... просто ограниченность! — зло проговорил он. — Сама отказывалась, признавалась, что не умеешь, не хочешь, не видишь смысла... И после этого убить неделю... Когда все это можно было соорудить за два часа без дурацких клоунов и викторин и с тем же успехом!

Она взглянула на него с испугом.

— Что ты говоришь?!

— Да, ограниченность и глупость — добросовестно делать бессмысленную работу!

— Но я хотела вложить в нее смысл.

Он пожал плечами.

— Тебе что, больше всех нужно?

Оля, не ответив, быстро ушла. А в конце вечера в раздевалке

отобрала у него свой номерок. Оделась. Бросила странную фразу:
— Люди умеют оправдывать самые низкие побуждения!

И убежала.

Потом они помирились.

За несколько дней до утверждения назначений Ганшин узнал, что министерство предполагает оставить для себя кого-нибудь из выпускников. Он пустил в ход все связи и через два дня положил в карман новое назначение.

Ганшин позвонил Оле и нарочито сухо попросил ее срочно приехать в общежитие. Она скоро пришла, покрасневшая, со счастливыми глазами. Села у окна так, что солнце сразу наполнило ее пышные золотистые волосы. Улыбаясь, молча стала смотреть на него.

— Ну вот, Оля, — решительно начал Ганшин, едва сдерживая радость, — мы не дети, хватит молчанки! Наше будущее устроено. Не какая-то Тмутаракань. Я добился места в министерстве! — И торжествующе выложил на стол направление.

— А-а... — сказала она странным голосом и побледнела.

— Ты понимаешь, какое это счастье! Мало того, что мы в Москве. Через министерство я устрою тебе великолепную работу.

Впервые рядом с ней он чувствовал себя опытнее, увереннее, сильнее. Его несло, как на крыльях.

— Получим квартиру. Будем замечательно жить!

— Для меня ты старался? — еле слышно проговорила она, не сводя с него испуганных глаз.

— Только для тебя! — убежденно воскликнул Ганшин. — Один я хоть на полюс! Но я же отвечаю за твою судьбу, черт возьми! Ох, сколько трудов стоило мне это направление...

Не взглянув на бумажку, она встала и протянула руку.

— Ты что, Оля?

— Ничего, — сказала она, и губы у нее задрожали. — Я ведь мимоходом, я тороплюсь.

Он встревожился, вскочил, схватил ее за руку.

— Ольга! Я что-то не так сказал? Господи боже мой, ну почему слова имеют для тебя такое значение? Подумаешь, не так выразился. К чему усложнять!

— Слова... — сказала она с каким-то сдержанным страданием. И с неожиданной силой отняла руку. — До свидания. Не провожай.

В тот же день в институте вывесили список, и он узнал: Ольга Луговая едет в Медногорск. В деканате ему рассказали, как почти неделю добивалась Оля, чтобы ей переменили назначение.

И она уехала.

В первые дни Ганшин очень страдал. Собрался ехать следом.

Но друзья приложили столько усилий, чтобы устроить его в министерство. Там сразу же ему доверили такую большую, ответственную работу. Нет, он не мог их подвести и уехать! Ничего, завоевав положение в министерстве, он добьется ее возвращения. Работая здесь, он продолжает бороться за Олю!

На все его письма она ответила только через три месяца. О себе ни слова. Просила прислать книги. Он отправил все, что мог раздобыть в Москве, приложил длинейшее письмо. Спустя месяц пришла открытка — несколько слов благодарности. А потом в суতোлке министерских дел все потускнело, отошло. Кончилась и переписка.

Что же так больно поразило, когда в кабинете начальника он услышал разговор о Медногорске? Почему сейчас, готовясь выйти из вагона, он дрожал от волнения, был полон радости, страха? Неужели он все-таки продолжает любить?!

* * *

У короткой деревянной платформы стоял снятый с колес железнодорожный вагон с вывеской «Город Медногорск». Вокруг со всех сторон поднимались невысокие округлые и голые горы, покрытые грязно-серым снегом. По склонам в беспорядке лепились одноэтажные и двухэтажные домики, сложенные из серого кирпича. Сырое серое небо нависало над самой головой. Впереди, там, где поворачивала колея, за горой поднимались черные грубы, над ними висело ярко-желтое ядовитое облако, а еще выше стоял синий сумрачный чад. Безлюдно. Убого. Тоскливо.

К Ганшину шагнул рослый детина с лицом, обросшим щетиной, с выпяченной нижней челюстью. Хриплым басом прокричал:

— Не вы, часом, с министерства?

— Я.

— Пишлы до машины.

Высокая пятитонка, до бортов забрызганная коричневой грязью, взревев, рванулась, грохнулась в яму, вскарабкалась на бугор, снова свалилась куда-то и стала медленно заваливаться на бок. Ганшина подбросило, ударило головой о потолок кабины, швырнуло на шофера, он больно ушибся коленом о рукоятку тормоза.

— Ногами упирайтесь, — буркнул шофер, остервенело вертя баранку руля.

Целый час продолжалась эта сумасшедшая тряска, и, когда Ганшин, хромая, вылез из кабины, было уже совсем темно.

— Ну и дорога!

— Десять дней, и нема покрышек! — с безысходностью сказал

шофер и ткнул пальцем в темноту. — Больница. От туточки вам ночевать.

Через мгновение в темноте снова взревело, заскрежетало, Ганшина обдало грязью, и он остался один в непроглядной мгле. И если бы не женские голоса, перекликающиеся где-то далеко внизу, было бы похоже, что вокруг пустыня.

Засыпая в холодной, только что выбеленной комнате, под влажной простыней, рядом с ростомером, похожим на виселицу, и с запыленными банками, в которых плавали в формалине какие-то лохмотья, Ганшин думал, что самое удивительное в этой глуши — Оленька Луговая. Закутанная в неуклюжий тулуп, в растоптанных валенках, бродит она по грязным, скользким склонам. с тоской следит сверху за проносящимся московским поездом. И он ясно понял, что приехал только затем, чтобы увезти ее.

И с этим твердым решением, умиляясь собой и жалея ее, он и заснул в ту первую свою ночь в Медногорске.

* * *

— Доктор Луговая! Возвращайтесь скорее! — звонко произнес за дверью свежий девичий голос.

Ганшин разом проснулся. Сердце бешено заколотилось. Она здесь! Рядом! Оля! Он вскочил. Горячее солнце ударило в глаза. Поспешно одеваясь, слушал сдержанный гул голосов за дверью. Увидев свои галоши в розовой глине, весело освещенные солнцем, рассмеялся. Небо нестерпимо голубело за окном.

В светлом высоком коридоре, еще заставленном лесами, толпилось множество людей в полушубках, ватниках, платках.

Вбежала маленькая курносая сестричка в белом халате. Люди недовольно загомонили.

— Таня! Когда же принимать будут?

— Через пятнадцать минут. Не шумите! — строго осекла сестричка. И, широко раскрыв на Ганшина глаза и краснея, сказала: — Вас просят на конференцию.

В тесном кабинете главного врача сидели на подлокотниках кресел, на валиках дивана, курили и шумно обсуждали предстоящий перевод больных в новое здание. Ольги не было.

Сухо и неприязненно спросил Ганшин, все ли врачи присутствуют.

Главный врач, молодой, с детским румянцем на круглом, безбровом лице, удивленно обвел взглядом собравшихся и полувопросительно высоким тенорком проговорил:

— Все, кажется...

— А Луговая?

— Она у нас производственный сектор. По отделениям носит-

ся — переезд, знаете ли!.. — Главврач расплылся в улыбке. — Вы знакомы?

— Вместе учились.

До конца конференции Ганшин не поднимал головы.

И начался удивительный день погони за Ольгой. Заместитель главного врача, высокая смуглая женщина с крючковатым носом, водила его по отделениям больницы, разбросанным по всему городу. На горных тропинках выворачивало суставы. Под теплым апрельским солнцем бежали по склонам ручьи, и подмытый снег проваливался. Ганшин то и дело терял галоши и черпал ботинками воду. Он страшно устал. Но женщина неутомимо шлепала по грязи и лужам, хищно, по-птичьи косила на него черным взглядом и, не переставая, ругала министерских чиновников.

Его таскали по всем этажам, совали носом во все углы, показывали какие-то старые кровати — на новое министерство не отпускало денег. Его заставляли записывать претензии на нехватку труб, шнура, проволоки, стаканов, пинцетов... Чего только не хватало! И получалось, что новый корпус больницы не открывали исключительно по вине министерства.

А Ольга неуловимой тенью скользила перед ним. В инфекционном отделении еще говорили о ней — она побывала здесь за несколько минут до их прихода. В родильном доме дежурный врач при появлении Ганшина поторопилась окончить телефонный разговор:

— Ой, ой, уже пришла комиссия! До свидания, Ольга Ивановна! Материал пришлю сегодня же.

А у главного врача детского отделения на столе лежала записка, еще и чернила не высохли! Ганшин сразу узнал ее ровный, твердый почерк. Но у него от волнения затуманились глаза, и он не смог прочитать.

И он вдруг испытал острую зависть ко всем этим людям, которые участвуют в ее жизни.

Перед вечером, прощаясь со своей спутницей, он, уже не скрывая огорчения, сказал:

— Весь день слышу об Ольге Ивановне... Где же она?

— Завтра по графику она на заводском здравпункте, там увидите. — И, по-мужски кивнув, широко зашагала прочь.

Ганшин возвращался в больницу не спеша. Он устал от непрерывного ожидания встречи с Ольгой, от ходьбы, от цифр, просьб, жалоб. Досадовал на потерянный день. И теперь, ни о чем не желая думать, отдыхая, просто глядел на городок, освещенный заходящим солнцем.

Медногорск лежал под ним, весь в кострах пылающих окон, в разбросанных среди новостроек кусках опрокинутого голубого

неба. Через лужи, размахивая портфельчиками, прыгали школьники. На широкой дороге, спускающейся в котловину, маленький бульдозер задорно, как щенок, то и дело с разбегу паскакивал на большую кучу черного снега. А по дну котловины бежал, выгибаясь дугой, игрушечный поезд. Вот он замер. Паровозик дохнул белым дымком. К поезду бросились люди, исчезли, будто растаяли. Паровозик весело гуднул и потащил свой состав на запад, в Москву. Далеко... Так далеко, что об этом даже не думалось.

Заперев за собой дверь, Ганшин уже собрался раздеться и мгновенно заснуть. Но кто-то торопливо пробежал по коридору. Что-то встревоженно проговорил женский голос. И знакомая сестричка громко ответила:

— Грею, грею, доктор, сейчас принесу.

На мгновение все стихло, а потом снова поднялось сильное движение. И тот же женский голос крикнул:

— Кислородную подушку быстро!

Ганшин вышел в коридор. Сестричка наполняла резиновую грелку горячей водой.

— Что там случилось?

— Шахтер. Тяжелый. Перевели сегодня в новый корпус. Расстрожили. Воспаление легких. — В широко раскрытых глазах сестры был ужас.

Ни секунды не сомневаясь, что это Оля там, наверху, сейчас одна бьется над умирающим, Ганшин выхватил у сестры грелку.

— Сам отнесу! — и побежал в палату.

В палате было тревожно тихо. Больные вытягивали шеи, поднимались на руках, смотрели в угол, где над койкой со шприцем в руке склонилась женщина.

— Грелку принесли! — радостно сказал кто-то из больных, точно это было спасение. Женщина оглянулась, и Ганшин узнал Савину, свою сегодняшнюю спутницу.

Больной старик с седыми, слипшимися на лбу волосами, с спящим румянцем на впалых щеках часто и с трудом дышал, в груди у него свистело и клокотало.

Вливание не ладилось — трудно было попасть в старческую хрупкую вену. Одышка у больного продолжала нарастать, лицо совсем посинело.

Неожиданно для самого себя Ганшин попросил у Савиной шприц. И едва приставил иглу к коже, большим пальцем левой руки сдвинул кожу с вены, осторожно проколол ее иглой, и кожа, оттянувшись, поставила иглу острием на сосуд — способ, которому научил его старый хирург Михаил Данилович Веревкин, — забытое радостно-тревожное чувство ответственности за чужую жизнь овладело им. Легко, стараясь не проколоть сосуд, он про-

ник иглой в вену, и струйка крови полилась в прозрачную жидкость в шприце. Сестра отпустила жгут, и Ганшин мягко ввел жидкость в вену.

Принесли кислородную подушку, и Ганшин уже первый стал прилаживать ее больному.

Два часа они не отходили от старика. И вот наконец дыхание стало ровнее и спокойнее, исчезла зловещая синюшность, и он открыл глаза, еще мутные, усталые от пережитого страдания.

— Ну как? Выкарабкается! Теперь только сердцу помочь!.. — оживленно говорил Ганшин, когда они с Савиной шли по коридору.

— А вы хорошо в вену попали, — сердито сказала Савина у двери в дежурку.

Ганшину казалось, что всю ночь он пролежал с открытыми глазами. Но то и дело над ним наклонялись какие-то люди и спрашивали о трубах и кроватях. Он снова считал пульс у старика, и они с Олей шли от палаты по длинному больничному коридору. И он сейчас испытал жгучее счастье от прикосновения к ее колену там, в институтском читальном зале, когда они тесно сидели за маленьким столиком и он смотрел в прыгающие и расплывающиеся строчки. Он увидел высокую сутулую библиотекаршу, которая всегда с презрением поглядывала на них с Олей из-за своей стойки и вдруг принесла и поставила им на стол стакан с красной гвоздикой. И от этого сейчас у него сдавило горло, и он стал задыхаться, как тот старик наверху...

* * *

Огромные железные ворота растворились, из дымной темноты на солнечный двор вырвался в клубах пара паровоз и, оглушительно свистя и грохоча, помчался на Ганшина. Он едва успел отскочить в сторону, как сзади опять засвистело и в ворота со стуком втянулся длинный порожняк.

— Не зевай! — внушительно и весело крикнул сопровождавший Ганшина седоусый техник и, ухватив его за рукав, втащил в цех. — Вот, наш плавильный!

Ганшин никогда не бывал на заводе. Цех обрушился на него ураганом металла и огня. Ему почудилось, что солнце, живое, огнедышащее, втащили в этот громадный закопченный зал и продавливали через гигантскую мясорубку высоких черных печей, стоящих вдоль стен. И солнце текло алыми потоками по желобам, точно светящаяся кровь, солнце стекало в подставленные богатые ковши, бурлило в котлах. И казалось, что все эти потоки, капли и брызги стремились слиться вновь в один бешено вертящийся шар и вырваться из дымного дома в высокое небо. Но его

упорно растаскивали, разливали, развозили по частям, и этой напряженной борьбой трепетало и грохотало здесь все. Только через несколько минут стал он замечать повсюду до странности спокойных людей, озаренных красноватыми отблесками, деловито занятых чем-то среди потоков огня.

И тогда далеко впереди он увидел Олю. В белом халатике она стояла на площадке у крайней печи.

Техник поймал взгляд Ганшина:

— Там сейчас металл будут выпускать. Пойдемте, посмотрите.

Она стояла вполоборота к ним и внимательно слушала широкоплечего гиганта в войлочной шляпе и темном комбинезоне. Тот что-то горячо доказывал, энергично пристукивал кулаком по воздуху. Она взяла огромную его ручищу, поглядывая на часы, стала считать пульс. И Ганшин, подходя, услышал ее грудной голос:

— Вот видите, вы провели перерыв не в цехе, а в беседке отдыха, и пульс значительно лучше. Нужно измерить кровяное давление.

Она говорила напевно, с улыбочивой интонацией, как с ребенком.

Ганшин думал, что это очень просто — подойти и сказать «здравствуй». Но вот он стоял, и смотрел на золотистые завитушки волос на шее, и молчал, и боялся, что она обернется.

Оля почти не изменилась. Слегка пополнела. Что-то взрослое, сильное появилось в ее сдержанных жестах, в том, как она смотрела, чуть откинув голову.

— Доктор, да у меня давление нормальное — пять атмосфер, — пошутил рабочий, подмигивая Ганшину.

— Это мы проверим, — ответила Оля, оборачиваясь.

Он заметил, как задрожали ее руки. Краска пятнами залила ее лицо и шею. Она почти с испугом смотрела на него. И, не в силах ничего сказать, он стоял перед ней, против воли улыбаясь напряженно, до боли в суставах.

Оля прерывисто передохнула:

— Откуда ты взялся?

Грохот цеха и возгласы людей отодвинулись куда-то далеко, словно за стенку. Ганшин смотрел в ее влажные от смущения глаза, и волна нежности поднималась в его груди, и было непостижимо, что до сих пор он мог жить, не видя ее.

— А, так вы знакомы! — сказал седоусый техник, с любопытством поглядывая на обоих.

— Конечно, конечно! — сказала Оля и тихо засмеялась.

И цех будто разом зашумел и задвигался вокруг них. Рабочего рядом уже не было — он бежал к печи, перед которой суелись несколько человек.

Ганшин, бестолково размахивая руками, кричал о том, как приехал и как вчера целый день бегал по городу по ее следам. И хохотал над собой.

— Господи! Значит, это ты комиссия из министерства! А мы так ждали и волновались! — говорила Оля, перебивая, не слушая, и было видно, что она очень рада ему.

Потом они следили за тем, как готовились к выпуску металла, и Оля объясняла, каким образом в этих ватержакетных печах из медной руды выплавляется медь, «медный штейн». Он слушал, половины не понимая, глядя на нее сияющими глазами. Неожиданно взял за руку и сказал умоляюще и радостно, дрожащим голосом:

— Оля!..

Она испуганно отпрянула. И вдруг, крепко сжав его пальцы, смешно замотала головой и закричала:

— Осторожнее! Осторожнее! — и с силой оттащила от печи.

Лишь теперь он заметил, что сюда со всех сторон бежали рабочие, взволнованно перекликаясь. Широкоплечий гигант, только что беседовавший с Ольгой, тяжелой кувалдой выбивал прут, торчащий из замазанного глиной отверстия внизу печи. Прут не поддавался, и это, очевидно, было плохо. Седоусый техник тоже был там и кричал сморщенному старичку в вислоухой ушанке и очках:

— Кузьмич, меняй! Видишь, устал, меняй!

Гиганта сменил подбежавший молодой паренек. Остальные выстроились в очередь и один за другим брались за кувалду. Прут не поддавался.

— Что случилось? — обратился Ганшин к Оле.

Нахмурившись, забыв о Ганшине, она неотрывно смотрела на прут. Вдруг рванулась вперед, крикнула:

— За начальником цеха послали?

— Идет, идет Горячев, — отозвался Кузьмич.

Мимо фронта печей, широко шагая, спешил коренастый молодой человек в кожанке и сапогах. Он остановился возле Ганшина, заложив руки в косые карманы куртки. Подбежал Кузьмич.

— Ломок прихватило!

— Сколько продержали?

— Да уж минут пять!

— Отжигайте кислородом!

Горячев говорил негромко и спокойно. Принесли длинную железную трубку, соединенную с резиновым шлангом, приставили к отверстию печи. Что-то зашипело, и ослепительно белое пламя забилось на конце трубки.

Ганшину захотелось немедленно понять происходящее, включиться. Он обернулся к Оле:

— Что это значит — ломок прихватило?

Горячев с удивлением посмотрел на незнакомого человека.

— Это представитель министерства, — сказала Оля таким тоном, точно тут все обязаны были знать о его приезде.

Горячев крепко пожал ему руку, и Ганшин увидел глубоко сидящие умные глаза и почувствовал расположение и доверие к этому человеку.

— Ломок — вот тот прут с припаем, которым затыкают летку, отверстие для выпуска металла, — неторопливо и с готовностью объяснил Горячев. — Ломок приварило к краям летки металлом.

— Разве это опасно? — спросил Ганшин, улыбаясь и чувствуя, что улыбка эта совсем неуместна. Но ему было так приятно, что он приобщается к этой общей озабоченности, что все так дружелюбно смотрят на него!

— Если металл передержать в печи, он поднимется выше летки и через фурмы выльется наружу, зальет цех, — так же спокойно сказал Горячев. — Это уже серьезная авария.

— Через фурмы в печь задувается воздух, — добавила Оля.

— А ты тут совсем освоилась!

— Еще бы! — лукаво засмеялась она.

Снова стали бить кувалдой по пруту, он поддался, и в подставленный желоб полилась из отверстия густая, как кисель, огненная масса.

— В беседку, в беседку! — закричала Ольга рабочему.

— Слушаюсь, доктор! — весело отозвался тот, сняв шляпу и вытирая обильный пот с лица и шеи. Перешучиваясь с товарищами, он направился в беседку, к которой спускалась широкая вентиляционная труба, а по стенкам ее стекали струи воды.

По дороге из цеха в здравпункт Оля рассказывала Ганшину, с каким трудом удалось добиться устройства этой беседки. Зато теперь все видят, как это полезно и как хорошо. У нее уже много интересных наблюдений...

— Да у тебя научная работа! — воскликнул Ганшин.

Ему хотелось смотреть и смотреть на нее, но он чувствовал, как сияет его лицо, и стыдился окружающих. И, осмотрев здравпункт, прощаясь, скороговоркой, вполголоса спросил:

— Где живешь? Зайду вечером. Сказать тебе столько нужно!.. Не прогонишь?

Она немного смутилась, но улыбнулась и поспешно ответила:

— Непременно приходи! Недалеко от больницы. Заводской поселок. Коттеджи. Номер двенадцать. Часам к восьми... Нет, к девяти вечера.

В своей комнате в больнице Ганшин ждал девяти часов вечера. Он ложился, старался заснуть, потом вскакивал, принимался читать... И все-таки вышел в половине восьмого.

Был ясный лунный вечер. На дороге журчала сбегавшая

в ущелье вода. И Ганшин перебирался через дорогу по белеющим камешкам.

Коттеджи тянулись вдоль дороги, во многих окнах горел свет. К домикам снизу поднимались люди. Слышались обрывки разговоров, прощальные восклицания.

Сердце у Ганшина прыгало, и он несколько раз останавливался, чтобы успокоиться. Он не знал и не думал, о чем сейчас будет говорить с Олей. Мысли перемешались. И он как-то странно видел себя со стороны: одновременно идущим по этой вдруг ставшей для него своей темной улице и за письменным столом в далеком министерском кабинете. И три телефона под рукой, и кипы папок, и доверительный шепот секретарши о настроении начальника — все, что казалось еще недавно таким важным, теперь видится со стороны мелким и ненужным. А нужно только быть рядом с Олей, быть вместе. Где? Все равно. Здесь! В заснеженной степи! В глухой тайге! Все равно, все равно!.. Он шел, бормоча, как пьяный.

Номер двенадцатый был прибит на столбе калитки. Ганшин вошел во двор и остановился. Мужчина и женщина, держась за руки, шли перед ним к дому. У самой двери они задержались, и знакомый мужской голос сказал:

— Последний снег! Вывалить тебя в сугробе?

Они стали в шутку бороться и смеяться. И Ганшин узнал Олю. Она вырвалась и вбежала в дом. Мужчина бросился за ней, и дверь захлопнулась.

Ганшин стоял, еще не понимая, что произошло.

В окне зажегся свет, и он увидел, как в комнату вошел начальник плавильного цеха Горячев, а за ним Оля. Горячев снял пиджак, повесил на спинку стула. Оля, улыбнувшись, что-то сказала, растрепала ему волосы и, забрав пиджак, вышла из комнаты, а он смотрел ей вслед. Оля вернулась со стопкой книг и, присев к столу, стала их перелистывать. Горячев заглянул через ее плечо, сказал что-то смешное. Она вдруг подняла голову и посмотрела в темное окно прямо в глаза Ганшину. Испугавшись, хоть она не могла его увидеть, он отступил к калитке. Женщина с ведром прошла мимо и, подозрительно заглянув ему в лицо, спросила:

— Вы кого ищете, товарищ?

— Я... Да так я... Луговую... — бормотал он, не соображая, что нужно ответить.

— Доктора? Два месяца как Горячевой стала. Вон прямо дверь.

И ушла, гремя ведром.

Ганшин вышел на дорогу и пошел, не разбирая пути. У себя в комнате он долго сидел на кровати, ни о чем не думая. На душе у него было пусто и холодно. Потом он встал и позвонил по телефону главному врачу больницы. Так как дела его здесь были

окончены, он попросил срочно отвезти его на машине на станцию. Главный врач не удивился, только напомнил о кроватях и трубах для больницы.

Ганшин ехал в той же пятитонке. Тот же шофер приветствовал его как хорошего знакомого. На этот раз он очень словоохотливо рассказывал о себе, о фронте, о семье, которую недавно переехал с Украины. И, прощаясь с Ганшиным у станции, совсем уж неожиданно сказал:

— Богатая у нас тут местность. Столя в этих горках добра, сколя нигде. Приезжайте як сможете.

* * *

На рассвете Ганшин стоял в коридоре поезда и глядел в окно. В три дня не стало снега. До самого дымчатого горизонта блесла вода. То здесь, то там виднелись бредущие по колено в воде березы да порой проплывали, точно вереницы плотов, деревушки.

— Разлив в этом году огромный! — радостно сказал кто-то за его спиной.

А он смотрел на бескрайние просторы, на пробуждающийся апрельский день, заливающий светом и теплом все вокруг, как в чужой мир.



Гриша оказался в Дьяковке случайно — увидел с теплохода высокий берег с черно-зеленой дубравой, широкие вороненые заводы, плюшевый плес и решил провести здесь каникулярный месяц.

Комнатку снял хорошую, с видом на Оку. В первый же день выложил на стол стопку чистой бумаги и приготовился писать давно задуманную статью о смысле жизни.

Никто в институте не догадывался, что Гриша готовится стать писателем, что ради этого он и поступил на биологический факультет — чтобы познать первоосновы жизни, как он сам себе говорил. К третьему курсу он их познал, ибо, несмотря на то, что имел от роду всего двадцать лет, успел перечитать множество биологических книг и сделать одно великое открытие. Поэтому он считал, что имеет право, как все титаны, начать писательскую свою деятельность с самого главного — объяснить людям смысл жизни.

Первые несколько дней ему хорошо работалось. Поглядывая на оживленную, солнечную Оку, он обдумывал план статьи, выписывал отрывки из привезенных с собою книг, делал наброски.

Семья Рыжковых, в которой он поселился, была простой и славной, и он быстро стал своим. Настолько, что при нем по вечерам, не таясь, вели самые заветные семейные разговоры и Зинаида Федоровна даже советовалась с ним насчет женитьбы старшего сына Петра. Двадцать семь лет парню, а он все робеет с девушками. Так можно и до лысины в парнях проходить. А Лена Воронина девушка хорошая, имеет специальность — бухгалтер на том самом кожзаводе, где и Петр служит. К тому же Воронины свои, дьяковские. После смерти старшего брата стоит у них дом заколоченный, тоже нельзя пренебрегать, есть где жить молодым. Зинаида Федоровна уже несколько раз обсуждала это со стариками — Воронины очень одобряют. Вот только Петр никак не раскачается. В кого только он уродился, рохля, тюря анафемская!

Петр во время этих разговоров конфузливо косил и смешно вытягивал трубочкой губы, точно пытался достать кончик своего

длинного утиноного носа. Дед сердито хрипел и стучал на него ложкой. Мать уговаривала: тосковала по люльке да по пеленкам. Гриша же солидно покачивал головой и очень советовал жениться. Ему нравилось, что здесь говорят о женитьбе так просто и без всякого лицемерия обсуждают выгоды и невыгоды. Гриша считал себя рационалистом и имел свою точку зрения на брак.

Только младшая Петина сестра Светлана, первый год работавшая учительницей в сельской школе, зло вздергивала острым плечиком и говорила с напором, почти с ненавистью:

— Господи, да он же не любит! О господи!

На что Зинаида Федоровна, вздохнув, неизменно отвечала:

— Ничего, Петенька, стерпится — слюбится. Ей ведь тоже двадцать пять — заневестилась!

Наконец на семейном совете было решено, что Петр, не откладывая, объяснится и сделает предложение. Растерянный Петр после этого долго уговаривал сестру и Гришу пойти вечером вместе с ним, чтобы вызвать Лену прогуляться и уж там, в непринужденной обстановке он улучит минуту...

— Ты не волнуйся, — тоном опытного сводника говорил Гриша, — мы тебе создадим условия! — И подмигивал Светлане, которая в ответ зло шурилась и вздергивала плечиком.

В этот день Гриша назначил себе начать статью. Он проснулся рано и долго лежал с закрытыми глазами, с аппетитом пережидая, пока открячатся соседские петухи, пока уйдут на работу Петр и Светлана, уляжется утренняя суета. Встал, умылся, похлебал на кухне вкусно подкисший вчерашний борщ. Сел к столу. На душе было ясно и празднично.

Название написалось сразу: «О природе нравственности». По-нравилось. Кратко, значительно. Как у древних. В первой части предполагалось рассмотреть основные элементы нравственности в свете современных знаний биологии и психологии. Гриша решил начать с любви. Самому ему, правда, еще не довелось полюбить. Ни в школе, ни в институте не было девушки, с которой бы ему захотелось увидеться вторично. Обычно после первого же разговора с любой он очень быстро обнаруживал, что он умнее, становилось скучно и хотелось к товарищам и книгам. Гриша подозревал, что и у других все так же, только другие с этим мирятся или скрывают. Или заблуждаются в оценке этого чувства. И заблуждение порождает множество недоразумений, ошибок, страданий. Любовь, какой она была в представлениях живших прежде, устарела так же, как религия. В действительности же любовь, если говорить научно, — это просто инстинкт сохранения вида, у человека подчиненный все тому же всеобъемлющему Закону нравственности, открытому Гришей. И людям нужно только познать

этот Закон, чтобы перестать страдать, чтобы любовь стала источником душевного покоя и не мешала, а помогала людям жить и выполнять свои обязанности. Все было так ясно! Но ясно и странно казалось, пока он думал об этом. Стоило же ему взять перо, как, странное дело, мысли ускользали, и он никак не мог написать первую фразу. Не писалась первая строчка, хоть ты что!

Гришу стало ужасно раздражать, что хозяйка и дед ходят по дому особенно тихо, разговаривают вполголоса, чтобы ему не мешать, и он невольно только и делал, что прислушивался.

Гриша ушел на берег, выкупался и долго жарился на песке среди белых деревенских уток, которые изо всех сил пугали его, вытягивая шеи и хлопая крыльями. После обеда опять сидел за столом, тупо уставившись в чистый лист или марая рожи.

А потом он понял, что просто ждет той минуты, когда на обрыве появится тонкая фигурка Светланы... Дело в том, что для каждого своего занятия Гриша любил сразу устанавливать твердый режим. И он установил начало работы за столом с уходом Светланы на работу, окончание — с ее возвращением. Это было очень удобно, так как он частенько забывал с вечера заводить часы.

Но почему сегодня его охватило такое нетерпение? Вероятно, оттого, что вечером предстояло участвовать в необычном предприятии. Устраивать чужую женитьбу! Чего ради он ввязался в это дело? Что он знает о Петре и Лене? На минутку ему стало не по себе. Впрочем, эта женитьба целиком отвечает его взглядам на брак, его Закону. И если он хочет быть Учителем жизни, он должен не только вещать, но творить жизнь по своим правилам. Собственно, сама жизнь должна сегодня написать для него первую главу его статьи.

Сравнение понравилось, и Гриша стал любовно его смаковать.

Пришел Петр и, отказавшись от обеда, завалился отдыхать в соседней комнате, где он спал на тюфяке прямо на полу под занавешенным окном.

Светлана запаздывала. Тени стали сгущаться. Что-то таинственное совершалось вокруг. Странно коротко кричали чайки. Широкая серая тень шла от противоположного берега через гладь реки, гася блики. На середине реки у замигавшего зеленого огонька в неподвижной воде волшебным образом покачивалась лодочка бакенщика. И непонятно, откуда брались тихие волны, набегавшие на песчаный плес под окном. В доме тоже все было полно прекрасной таинственности. В кухне что-то слабо позвякивало. По всему дому, редко ступая, ходили на цыпочках озабоченные гномы. На по-

черневшей дощатой перегородке, отделяющей Гришину комнату, в медном отблеске уже невидимого солнца проступали древние лики с круглыми скорбными очами.

Наконец Гриша увидел в окно Светлану. Она появилась высоко в лиловом небе на краю обрыва. На миг задержалась там. Закинула за голову руки. Видно, залюбовалась закатом. Стала не спеша спускаться в заросшую балочку, выходящую к реке у самого их дома.

Гриша с облегчением отодвинул стопку бумаги, потянулся за галстуком.

— Девять часов! — ворочаясь на полу за перегородкой, проstonал Петр. — Убить мою сестру мало!

— А ты бы... с гузна бы... снялся бы... вышел навстречу, — заворчал из кухни дед.

— Пускай лежит, пускай отдыхает, чего пристал! — тотчас заговорила нараспев Зинаида Федоровна.

Дед чем-то загремел и стал кряхтеть и чертыхаться. Петр зашлепал босиком по полу и вдруг завопил в ужасе:

— А рубашка? Мать! Рубашка-а!..

— Сейчас, сейчас, пуговицу пришиваю!

Светлана торопливо простучала каблуками по лестнице и с порога объявила:

— Не ругаться! Внеочередной педсовет. Умираю от голода.

— Ну вот, теперь кушать! — плачущим голосом сказал Петр. — Гриша, кончай писать!

Гриша тщательно повязал галстук и вышел из комнаты. Оглаживая на длинном и худом Петре рубашку, маленькая, толстенькая Зинаида Федоровна смешно тянулась вверх, приседала и непрерывно квохтала:

— Ох, горе мое, ох, наказание!..

Петр натянул пиджак на костлявую спину и внезапно обмяк, опустился на стул и сказал упавшим голосом:

— Толкаете вы меня, мама...

Зинаида Федоровна даже покраснела от возмущения.

— Что же, я до самой смерти буду на тебя стирать да готовить?!

— Так вы только для этого... Могу и уехать!

— Спасибо, дождалась! — сказала Зинаида Федоровна и заплакала.

— Не смей матери грубить! — закричал дед, наступая на Петра и подтягивая вечно сползающие штаны. — Сосунок! Недотеха! Дармоед!

Светлана выскочила из кухни и, дожевывая, потащила Петра к выходу.

Едва они свернули к реке, их обступила теплая, глухая мгла.

Освещенные окна Дьяковки, вытянувшейся вдоль берега, точно повисли в воздухе на разной высоте. Впереди смутно маячила фигура Петра. Шли молча. Гриша споткнулся, остановился, не понимая дороги.

— Держитесь за меня, — сказала откуда-то Светлана. И он тотчас ощутил в своей руке тонкие холодные пальцы. Осторожно сжал их, с жалостью осязая каждую косточку.

Внезапно они очутились перед сплошным высоким забором. Светлана осторожно высвободила руку.

— Пойдите здесь, сейчас приведу. — Шагнула вперед и исчезла.

Подождали несколько минут. Неподдалеку негромко тьякнул пес. Тишина.

— Дурацкое положение! — виновато сказал Петр.

Гриша собрался ответить, но обнаружил, что рот у него растянут блаженной улыбкой.

— Все нормально, Петя! — сказал кто-то Гришиным голосом. — Брак — это гражданский договор. И больше ничего.

— Понятно... — не сразу отозвался Петр. — Но, знаешь, живой человек... У каждого свое...

— Мистика! — бодро продолжал Гришин голос. — Раньше жили в стаде как в стаде. А стали превращаться в людей, заметили, что в отношениях между самцом и самкой присутствует не одно физическое влечение. Еще что-то. Но что? Конечно, они не могли разобраться — дикость, невежество, боги, религия. И ударились в мистику. Наворотили вокруг Любви черт те что: духовная, неземная, волшебная... А так как этого понять невозможно, то стали страдать. Приятно! Стихи можно писать. Романы.

— Но ведь что-то же и вправду есть...

— Целесообразность! — торжествуя гремел Гришин голос. — Целесообразность с точки зрения интересов общества. Как обязательное условие сохранения вида! Только целесообразность. Это и есть единственный критерий нравственности. Нравственно то, что полезно для общества. А обществу полезно, чтобы брак двух индивидуумов стоил ему как можно меньше и давал как можно больше.

— Ты что же, экономику подводишь? — удивился Петр.

— А как же! В конечном счете решает экономика! И когда брак целесообразен в этом высшем смысле, у супругов есть чувство удовлетворения и физического и духовного. А это и есть Любовь!

— Конечно, — грустно сказал Петр, — у Ворониных пустует дом... Служим с ней вместе. Целесообразно.

В том, что говорил голос, Гриша узнавал те самые мысли, ко-

торые сегодня весь день ускользали от него и не ложились на бумагу. Но и голос и слова жили где-то вне его, а он, как посторонний, слушал и неизвестно чему улыбался.

Послышались неясный говор, шаги, снова беззлобно твякнул пес, и от забора отделились две женские фигуры.

— Здравствуйте, — низким, грудным голосом сказала Лена. — На посиделки? — и грубо рассмеялась.

Краешком сознания Гриша отметил: очевидно, она знает, зачем ее вызвали. Но он все еще пребывал в блаженном состоянии раздвоенности.

— Садитесь, коли пришли, — сказала Лена.

И Гриша тотчас же увидел в темноте светлую скамью на вкопанных столбах. Они чинно уселись рядом. Лена, Петр, Гриша, Светлана.

Скамья была коротка, и Гриша изо всех сил сжимался, чтобы не мешать Светлане. Но он мешал. Он ужасно мешал. Вероятно, только чтобы не свалиться, она не отодвигалась.

А колдовство между тем продолжалось. Из темноты выдвинулась освещенная изнутри густая, перепутанная трава. И сразу далеко внизу на черной воде засверкала рыба чешуя. И вот уже показался тот лесистый берег, черный, лохматый. Звезды в небе не померкли, но уменьшились в размерах и отступили на задний план, в глубину. И тогда наконец Гриша заметил кусочек луны, высунувшийся из-за крыши. Точно она не имела никакого отношения ко всем этим чудесам и сама вылезла полюбоваться.

Теперь уже простор вокруг до краев был залит фосфорическим светом. Лица у всех четверых были белые, и блестящие глаза казались черными.

— В молчанку поиграем? — бесстрастно сказала Лена.

— Сегодня новую программу обсуждали, — оживленно сказала Светлана. — На литературу опять сократили часы!

— А к нам новый директор едет... — неопределенно протянул Петр, и было непонятно, хорошо это или плохо.

— Давайте прогуляемся! — сказал Гриша, вспомнив наконец, что нужно создать условия, и порываясь встать. Но почувствовал, как Петр мертвой хваткой впился в его колено, и остался.

На реке показался весь в огнях прогулочный катер из Рязани. Донеслись звуки джаза. Было похоже, что там царит невиданное веселье, что там множество счастливых людей, которым так далеки и эти темные, грустные берега, и люди, живущие в этих глухих деревушках...

— Каждый вечер крутят одну и ту же пленку! — с раздражением сказал Петр.

Лена стремительно поднялась, отошла к обрыву. Постояла, крикнула не оборачиваясь:

— Рыжков, а третий лишний!

Петр встал и как-то через силу, будто против ветра, двинулся к ней.

Двойственное чувство у Гриши исчезло. Теперь он весь был тут. В точке, которой касалось ее плечо. В этой точке было две тысячи градусов. Он глубоко и жадно вдыхал сырой речной воздух. Вдруг заметил, что они со Светланой дышат в такт, что стоит одному задержать вздох, как замирает другой. И тотчас же сердце у него сжалось и запрыгало в горле.

— Создаем условия! — чуть слышно сказала Светлана, в голосе ее трепетал смех.

Четверо замерли. Точно над пропастью. Точно от одного слова или движения взорвется ядерный заряд этой тишины.

Луна уже стояла высоко. Далеко вокруг ясно были видны черные перелески, сизые дымящиеся поляны. Вся река холодно блестела жемчужно.

— Что, женишок, заробел? — громко сказала Лена.

— Придумаешь тоже... — промямлил Петр.

Он угловато, как заводной, поднял руку, согнул в локте, положил ладонь ей на плечо. Она не пошевелилась. Так они простояли долго.

— Знаешь что, — во весь голос сказала Лена, — держи ты свои руки при себе!

Петр так же неловко принял руку.

— Иди-ка ты домой, Рыжков. Надоело!..

Петр как-то странно потоптался, зачем-то стал обрывать листья на кустах. Потом нетвердо, точно пьяный, пошел к скамье, взгляделся в лица сидящих.

— А ну вас!.. — сказал со злостью и горечью и неожиданно быстро и решительно зашагал прочь.

Лена все продолжала стоять над обрывом, не оборачиваясь.

— Лена, — сказала Светлана. — Что это вы? Позвать? Я приведу его, дурня...

— Сиди! — сдавленным голосом отозвалась Лена, не двигаясь.

Когда шаги Петра затихли, Лена медленно повернулась. Белое лицо ее блестело от слез.

— Кому это нужно? Кому это все нужно? — повторяла она, всхлипывая. И было удивительно, что эта круглолицая ширококоштанная девушка, очевидно сильная и веселая, так беспомощно плачет и по-детски слизывает языком слезы.

Ушла и она.

— Я надеялась... — тихо сказала Светлана. — Ведь у меня нет

подруги ближе... Боятся ее парни... А она такой человек славный, такой справедливый... Я надеялась, что, может быть, все-таки... Нет, я знала, что так и будет, как получилось! Нехорошо, Гриша, плохо!..

Но Грише было очень хорошо. Он гладил ее тонкие, слабые пальцы, и она не отнимала руки. Заметив, что она дрожит, он испытал такой прилив жалости и нежности к ней, что ему захотелось закричать. Он обнял ее за плечи, и она не отклонилась. Он эгоистично думал о том, как пошло и ничтожно было то, что произошло только что между Петром и Леной, и как высоко и прекрасно то, что совершается сейчас.

— Света, — сказал он, задыхаясь, — Света... — Она прижалась щекой к его груди и, чтобы не соскользнуть, ухватилась за отворот пиджака. Эта легкая тяжесть была особенно трогательна. Боясь помешать, он замер, выпрямившись, не смея вздохнуть. Он мечтал, чтобы она так заснула, чтобы он мог вот так всю ночь сидеть и оберегать ее.

Где-то рядом, пробудившись, сдуру заорал петух. Гриша тотчас же преисполнился любви к этому трудяге. Из какого-то хлева донеслись хрюканье, глухой шум, перестук копыт. Он огляделся и увидел, что вокруг выступили из темноты и забелели стенами избы. И вдруг разом ощутил вокруг жизнь. Тепло живого дыхания под каждой крышей. В каком-то озарении увидел он Лену в ее комнате, со следами высохших слез на лице и понял ее отчаяние и гордость. Увидел Петра, шагающего своей нелепой, журавлиной походкой по ночным улицам. И разделил с ним радость и облегчение. Увидел Зинаиду Федоровну. Она не спит, ворочается, прислушивается к каждому шороху, и дед из-за перегородки бормочет что-то сердитое насчет нынешних детей. Жизнь под каждой крышей раскрывалась ему слезами и смехом, бессонными ночами, гневом, радостью и надеждой. И казалось естественным, что сам он так внезапно сделался частицей этой жизни. Он думал о том, что, может быть, самым прекрасным этой ночью было именно то, что произошло между Петром и Леной. Как это великопно, что есть в человеке нечто непреодолимое, неподвластное ухищрениям ума, та нравственная основа, которая сорок тысяч лет составляет человека стремиться к совершенствованию, убирать с дороги все, что мешает свободе человеческого духа, — зависимость от пищи, от крова, от силы... И ему уже казались ненужными и оскорбительными его литературные словесные упражнения с тем, что он увидел и пережил этой ночью.

Светлана вздрогнула, выпрямилась, огляделась по сторонам. — Светает! Ну и ну, заснула... Ой, пиджак измяла!

Она старательно разглаживала ладошкой отворот его пиджака, и он готов был сидеть и смотреть на это всю жизнь.

Они пошли к дому вёрхом, через село. Кое-где уже курились трубы и чувствовалось движение.

— Ох, и разговоры теперь пойдут... — сказала Светлана, покачивая головой не то с укоризной, не то с удивлением...

И Грише вдруг ужасно захотелось, чтобы сию же минуту над всеми плетнями выставились лица с вытарашенными от радостного изумления глазами, чтобы немедленно вылезло и засверкало на всем солнце и чтобы замычали коровы, и замакали козы, и засигналили грузовики, и затрубили пароходы, чтобы начался и закрутился вокруг них жаркий, многоголосый, счастливый день!



Наступали сумерки, тайга вокруг меня шумела все таинственнее и тревожнее. Неширокая и полноводная Сосьва бархатно темнела далеко внизу, вясь между сопками.

На противоположном берегу круто поднимался по склону маленький поселок лесорубов, там в окнах засветились первые огоньки.

Вот по доскам моста неспешно протарахтел автобус, остановился у начала поселка, возле нижнего склада. В обе двери высыпали фигурки людей, стали врассыпную молча подниматься по склону, исчезать среди светлых рубленых домиков.

Ее все не было. Я уже давно переволювался, устал и теперь сидел, привалившись к морщинистой осине, в каком-то блаженном безразличии и, казалось, не ждал. Вечер надвигался на меня как темный мешок, и мне было хорошо.

Но я ждал. Я понял это по тому, как вдруг застучало в висках, когда там, на улочке поселка, появилась она в чем-то светлом, остановилась и жестом, который я тотчас вспомнил, поправила волосы.

Я бросился вниз навстречу.

Днем, при первой мимолетной встрече, в конторе, мне показалось, что она очень изменилась, не постарела даже, а просто стала другой. Но, может быть, я забыл, неправильно помнил, придумал себе иную? Теперь, в сумерках, я увидел вблизи то самое лицо, такое же худощаво юное, те же зеленые чистые глаза... И мне уже чудилось, что помнил я ее именно такой.

Она шла ко мне по мосту в тапочках на босу ногу, пружиня на каждом шагу, как ходят в восемнадцать лет.

— Боже мой, какой случайный случай! Какой сумасшедше случайный случай! — все повторяла она, пока подходила, пока мы выбирали бревнышко на берегу и устранивались.

Она вытянула ноги, скрестив ступни, опустила руки, загляделась на воду.

Мне почему-то было очень трудно начать разговор.

— Как же мне теперь величать вас? — сказала она, не шевелясь.

— Все так же, Сашей.

— О!.. — Она покачала головой. — Как будто не было этих тридцати... Какое! Тридцати четырех лет?

— Как будто!

— Но они же были, были, были...

— Значит, и мне нельзя называть вас Танюшей?

— Нельзя. Я теперь Татьяна Андреевна, старая барыня на вате, как говорили у нас дома.

Мы помолчали. Я все смотрел на ее тонкий профиль, уже теряющий в полутьме четкие очертания и оттого еще более юный. Она почувствовала мой взгляд. Снова покачала головой.

— Нет, невозможно спрашивать. Ведь у нас с вами прошла целая жизнь. И страшно задать вопрос — точно стронуть камень на осыпи. Правда?

— Вы давно здесь?

— С весны. Впереди еще месяц — нужно изучить скорость течения и уровни воды в осенний период. И домой.

— В Москву?

Она кивнула.

— Туда же, на Пятницкую?

Она снова кивнула, но не сразу, помедлив, будто сомневаясь. Вдруг сказала громко, резко:

— А вы, значит, приехали громить и карать?

— Служба. Это же мой район.

— Парень не виноват.

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

— Расскажите, пожалуйста.

— А нечего рассказывать. Достаточно на него взглянуть.

— К сожалению, этого мало. К нам в областную прокуратуру пришло коллективное заявление очевидцев. И сегодня в конторе мне подробно рассказали... Говорил с пострадавшим. Читал приказ об этом драчуне — парень он недисциплинированный...

— Но его-то вы еще не видели!

— Увижу, непременно увижу. В общем, ничего таинственного в этой истории нет, обыкновенная драка с последствиями в виде пожара. А пожар — отягчающее обстоятельство. Хорошо еще, что сгорел небольшой участок леса...

— Обстоятельство, показания... — Она вздохнула. — Неужели человек сам по себе не обстоятельство?

— Наряду с другими. Да я бы по этому ерундовому делу не потащился сюда. Но давно здесь не был, приехал больше для профилактики.

Она вдруг посмотрела мне прямо в глаза.

— Вы женаты, Александр?.. Господи, назовите свое отчество, я же не знаю!

Мне сделалось грустно.

— Григорьевич.

Она ждала ответа. Но мне не хотелось разговора об этом.

— В командировке я всегда холост.

Конечно, это была ужасная острота.

— О господи! — тихо сказала она.

— А вы довольны жизнью, Татьяна Андреевна?

— Я люблю свою профессию, работу, в ней есть и научный поиск, и выход в практику. Я много езжу по стране — интересные места, интересные люди. В конце концов, давать воду людям, полям, пустыням — в этом удовлетворение, радость, чувство, что приносишь пользу...

Она говорила торопливо, отрывочно, будто заранее приготовленными словами.

— Значит, вы счастливы?

— Да, да, да! — Она поднялась. — Свежо. Тут у вас на севере в это время вечера уже холодные. Удивительная у нас с вами встреча! Не думала, не гадала... А паренька этого повидайте до всяких следствий. Я знаю, вы завтра поедете на место пожара... Так до того. Пожалуйста, я прошу вас, Александр... — Она прыснула. — Думаете, я запомнила этчество? По-моему, даже не слышала, как вы назвали... Вечно попадаю в глупое положение: спрашиваю человека, как его зовут, и не слушаю ответа. Вторично спросить уже неловко, и вот мучаюсь и выкручиваюсь...

— Григорьевич, — повторил я, и мне сделалось еще грустнее.

— Ну, теперь запомню до гробовой доски! — Она рассмеялась. — Пойдемте. Парень этот вон где живет — с краю третий снизу дом, видите? Прямо с утра, он на больничном и дома. Хорошо?

— Хорошо, Татьяна Андреевна.

— И после этого поговорим, я вам кое-что о нем расскажу. Вы завтра еще здесь? Ой, засыпаю на ходу, ужасно устала! Нет, нет, не провожайте, тут не принято. Репутация, знаете!

Мы уже вошли в поселок. Она быстро и легко пошла вверх по крутой улочке. Задержалась, крикнула мне:

— А Пятницкую вспоминали? Хоть разочек? За эти годы?

Я не ответил. Она махнула мне рукой, свернула направо и вошла в тот самый дом, где жил паренек, из-за которого я приехал в этот глухой таежный поселок.

Долго стоял я на берегу реки. Стало совсем темно. Поселок после тяжелого рабочего дня сразу заснул, погасли огни. Было тихо. Только несильные порывы ветра потряхивали верхушки деревьев да неумолчно шуршала и шелестела река.

И тут впервые за эти тридцать четыре года с ослепляющей яркостью увидел я тот далекий морозный московский вечер.

Как давно это было! Тридцать четыре года — целая жизнь. И что за годы! Рушились города и страны. Гибли близкие и далекие. Народы исчезали в огне и дыму пожарами, в газовых камерах и крематориях. Отчаяние и надежда попеременно разом охватывали миллионы людских сердец. Казалось, что же после этих ураганов могло сохраниться в человеческой памяти?! Но тот порыв души... Он, оказывается, жив.

После южного городка, в котором прошло мое детство, все тогда было внове для меня: сугробы снега, за которыми фырчали невидимые автомобили, звонкий скрип шагов, неожиданные таинственные повороты переулков и это погружение то в зеленоватый лунный свет, то в сиреневый сумрак. Спутники мои, Дима и Володя, перебрасывались короткими словами вроде «Застанем?», «Обещали!», от которых сердце мое начинало колотиться и сладко замирало.

В те первые месяцы моего студенчества новые товарищи приобщали меня к московской жизни. В жизни этой мне предчувствовалось нечто особенное, от чего захватывало дух и кружилась голова, какие-то сладостные тайны. Я не мог бы сказать какие, что-то неопределенное, прекрасное, высокое и в то же время низменное...

Мы свернули в небольшой заснеженный двор, по узкой тропинке гуськом прошли к высокой темной двери. Помню теплый печной дух коридора. Тусклую от пыли лампочку под потолком. Огромный в медных обручах сундук, на котором грудой лежали пальто, шубы, шапки. Тоненькая, темноволосая, темноглазая девушка со смехом торопливо обметала веником снег с наших ног. Мы пошвыряли наши по-студенчески замызганные, ветром подбитые пальтишки на чьи-то меха и вошли в комнату.

В лицо мне метнулось что-то пушистое и горячее, скользнуло вниз и между ногами, жалобно мяуча, протиснулось в коридор.

— Милка вас посвятила! — радостно засмеялась за моей спиной тоненькая девушка.

— Мальчики, шарады, шарады! — закричали в комнате.

И закружился вечер...

До тех пор я никогда так не проводил время. В моем городке молодежь, собираясь по вечерам, до одурения шаркала ногами по паркету, вытанцовывая фокстрот, румбу, чарльстон. И обычно, сидя весь вечер в углу среди нетанцующих, я мучился от ревности и уязвленного самолюбия. А потом одиноко плелся домой, в то время как «мою» девушку провожал очередной танцор в модных брюках клеш.

А здесь, в старинной московской квартире, играли в глухонемой телефон, в шарады, угадывали картины, читали стихи. Здесь можно было импровизировать, дурачиться и не бояться показать-

ся смешным. И я чувствовал себя не хуже других, а стихов знал даже больше. Один раз мне аплодировали, когда я придумал, как в шараде изобразить букву «о». Когда до этой буквы дошла очередь, я, дико осмелев, вытащил на середину комнаты ту самую тоненькую девушку и мы, упираясь друг в друга пальцами ног, обняв друг друга за шею и выгнувшись в противоположные стороны, замерли в букве «о» и стояли так долго, пока длилась овация.

В этой квартире жили две сестрички. Тоненькая была младшей, звали ее Танюшей. Она была очень смешлива, и в углах ее рта постоянно дрожали спрятанные там пружинки. Старшая, Соня, была строже, говорила менторским тоном, судила безапелляционно. И в спорах мы с Танюшей постепенно объединились против нее. Соня раздражалась. А мы с Танюшей весело переглядывались и дружно ее подзадоривали.

Потом, когда все утомились, из глубины квартиры пришел высокий седой старик в очках, с папиросой, приклеенной к нижней губе, оглядел нас поверх очков.

— Ну что, вертопрахи, нашумелись? Ну-ка, девки, музикштунде!

Он сел аккомпанировать. Соня и Танюша подошли к роялю. Они пели дуэтом старинные романсы. Я помню только один — «Элегню» на стихи Дельвига. Потому что на словах:

Когда еще я не пил слез
Из чаши бытия,
Зачем тогда в венке из роз
К теням не отбыл я!

голосок Танюши выделился и повел высоко-высоко, в душе у меня что-то такое случилось, такое... до боли чистое и прекрасное...

Стали собирать на стол: чай с сахаром вприкуску и коржики, традиционные коржики, которые пекла Соня. И тогда мы с Танюшей, не сговариваясь, встали и вышли в коридор. Кто-то из нас отпер дверь на улицу, мы оказались на крыльце, не чувствуя, не замечая мороза. И сразу же поцеловались. И стояли вечность, прижавшись щекой к щеке. И ледяные иглы танцевали у меня в глазах.

А по дороге домой в общежитие я сказал моим друзьям об этом поцелуе. И Дима, который был старше и опытнее, с усмешечкой заметил:

: — Ну, знаешь, если девушка с первой же встречи с незнакомым парнем сама лезет целоваться... Не обольщайся!

Мне стадо стыдно моей неопытности. И я ответил какой-то пошлой шуткой. Не мог же я признаться друзьям, что то был в моей жизни первый поцелуй!

В квартире на Пятницкой больше я не бывал и Танюшу не видел ни разу. До самого этого дня.

В десять часов солнечного теплого еще сентябрьского утра постучал я в дверь указанного мне дома. Открыла дородная женщина с суровым лицом. Зорко оглядела меня.

— Следователь? — Голос соответствующий: низкий, грудной. — Входите. Ожидает вас пенчик.

— Здравствуй, Виктор! — сказал я коренастому пареньку, который стоял за ее спиной, несколько набычившись, широко расставив ноги, глядя на меня исподлобья.

— Имейте в виду, — ответил он с вызовом, — я вас не просил приходить.

Очевидно, он жил именно здесь, в передней комнате, где в правом углу стояла его кровать, висела гитара и на подоконнике высоко громоздились книги.

В глубине за перегородкой были еще две комнаты. В распахнутые двери я увидел в одной высокую постель с пирамидой белоснежных подушек, иконку в изголовье, цветы на подоконнике. В другой стояла лишь узкая железная койка, застеленная по-солдатски, над ней на стене на гвоздике светлое платье, а на полу груды ящиков и сумок с приборами. На тумбочке у кровати стояла чья-то фотография, лица разглядеть я не мог.

Мы уселись с Виктором друг против друга. Он положил на колени забинтованные кисти рук и уставился на меня.

— Татьяна Андреевна, конечно, наговорила вам, что я не виноват, что я несчастная жертва, раскаиваюсь и всякое такое. Так вот, я ни в чем не раскаиваюсь. Сидорова бил и приблю еще не так.

Он смотрел на меня с ненавистью, которая, надо полагать, относилась к Сидорову.

— А пожар?

— И в пожаре виноват я.

— Что, небрежность?

— Преступное легкомыслие!

Нет, он не смеялся надо мной, он кипел негодованием.

— Вот воспитываю себя, а ничего не получается. Должен человек собой управлять? Должен! Знаю! А приходит такой момент, и не могу. Черт в меня вселяется и несет...

— Значит, ты все-таки раскаиваешься в драке?

Он посмотрел на меня с удивлением.

— Так я ж про костер. Обязан был сперва затоптать огонь, а потом идти бить ему морду. А я как последний дурак вскочил, про все забыл...

Дородная женщина, слушавшая издали, подошла ближе.

— Следователь, ай засудишь?

Я пожал плечами. Она завздохала, ушла к себе.

Паренек действительно оказался любопытным. Но фотография там на тумбочке притягивала — я никак не мог разобрать, мужское лицо или женское с короткой стрижкой? И разговор у меня не вязался.

— Послушай, Виктор, из-за чего ты затеял драку? В конторе мне объяснить не могли. Сидоров говорит: без всякой причины.

— Ненавижу его, паскуду! — сказал он со страстной силой, и краска быстрой волной залила его лицо, шею. — Гляделки его бессовестные, пасть похабную!..

— Ну, знаешь, это не основание, чтобы драться. Мало ли кто кому не нравится. Мне, например, он показался обыкновенным и даже симпатичным парнем.

Виктор отвернулся, проговорил глухо:

— Нет в поселке ни одной девушки или женщины, чтобы он про нее чего-нибудь грязного не сказал.

— И ты за всех дерешься? Как Дон-Кихот!

Я хотел пошутить. Но шутки не получилось. Мне вдруг сделалось неловко. Отчего-то я вдруг потерял уверенность в себе и снисходительный тон, которым я давно научился разговаривать с людьми, мне не давался.

— Я терпел, — продолжал Виктор. — Я много раз говорил ему, чтобы перестал. Один раз так слегка съездил ему за медицинскую сестру, работала тут раньше. Из-за него же уехала, перевелась. Ну, не подействовало.

— А в этот раз за кого?

— Не расскажете?

— Обещаю.

Он доверчиво кивнул и, понизив голос, сказал:

— За Татьяну Андреевну.

— Она знает?

Он широко улыбнулся с какой-то простодушной хитростью.

— Да вы что! Да она б меня... не знаю... убила бы! Она думает, за Клаву. Вон у поварихи, — он показал на комнатку с иконой, — у Пелагеи Филипповны в помощницах.

— Но все же нельзя драться, Виктор! Лучше рассказать об этом открыто, на собрании, с фактами...

— Не годится! Только ославишь. Собрание пройдет. А слух останется. Знаете, как у нас говорят: нет дыма без огня... Не годится! — повторил он убежденно.

— Ну тогда пеняй на себя. За рукоприкладство не миновать тебе наказания.

— Это я знаю! — неожиданно легко и весело сказал он. — Это уж как пить дать.

— Да еще изувечат тебя. Вон руки Сидоров тебе ободрал.

— И совсем не Сидоров! — громко сказала из своей комнаты Пелагея Филипповна. — Это он пожар гасил. Без него в десять раз больше сгорело б!

Да, обыкновенная драка, никакой проблемы для юриста, даже и не такого опытного, как я. Больше мне тут делать было нечего. Но я зачем-то поехал на место пожара и долго бесцельно бродил среди порыжелых, обгоревших сосен. Потом я вернулся к реке и пошел по берегу.

Было часа три, солнце еще стояло высоко и грело. Наконец я увидел деревянный помост, далеко нависающий над водой. Увидел на помосте ее — в брезентовой куртке, с закатанными по локоть рукавами, в брюках и резиновых сапогах. Она возилась с какими-то приборами. Ей помогали две девушки.

Я глядел на нее издали. Мне было интересно смотреть, как она, ловко становясь на колени, склоняется над сверкающей гладью реки и замирает, будто совершает таинственную молитву. Как она, быстро выпрямляясь, высоко над собой поднимает тонкую руку с искрящейся пробиркой и, запрокинув голову с тяжелым узлом темных волос, шурясь, рассматривает пробирку на солнце. И все вокруг нее — и две оживленно болтающие девушки, и неторопливо проплывающие розовые стволы сплава, и лесистые берега, окаймляющие светло-синее небо с быстрыми облачками, — все обретало для меня общий глубокий смысл.

Она заметила меня, помахала рукой.

— Сейчас освобожусь! Александр... — запнулась и, так и не вспомнив мое отчество, расхохоталась. — Ладно, не обижайтесь, посидите на берегу! — И, продолжая смеяться, стала говорить что-то девушкам, которые с любопытством то и дело оглядывались на меня.

Потом мы долго шли рядом вдоль берега. Вода плескалась у самых ног. По дну реки ползали блики и тени.

— Татьяна Андреевна, чья фотография в вашей комнате?

Я хотел сказать о другом, о нашем разговоре с Виктором, о том, что она была права и дело не так просто... Но вопрос вырвался против воли, и было уже поздно.

— Мой сын.

— А, значит, у вас сын...

— Да. Студент. Сейчас тоже на Урале со строительным отрядом. Южнее, под Пермью.

— Значит, сын...

— А у вас... есть дети?

Ах, как я не хотел говорить об этом! Но пошутить я уже не смог.

— Семьи у меня нет.

Она промолчала. И я почему-то стал оправдываться: суматош-

ная жизнь, работа, переезды — так и не выбрал время, не встретил человека...

Тропинка кончилась. Перед нами поднималась серая скала, выходящая далеко в реку.

— Смотрите, будто нос корабля, — сказала она.

Мы оба долго и молча смотрели на эту серую громаду.

— Танюша... Простите, что я спрашиваю... Вы помните... Помните тот вечер?.. И то, как мы вышли с вами... на крыльцо?..

— Помню, — сказала она, продолжая смотреть на скалу.

Нет, я не мог решиться на этот вопрос. Она долго ждала. Потом посмотрела мне прямо в глаза.

— Что же не спрашиваете? Мужчин это всегда так волнует: первый или не первый... Да, это был первый поцелуй в моей жизни. И очень, очень долго он оставался единственным...

— Я этого не понял тогда, Танюша. Молодость, глупость...

Она медленно покачала головой.

— Нет, Саша, это было малодушие.

Она попала в цель. Мне стало больно. По укоренившейся привычке тотчас же заработало мое самолюбие, и я пустился придумывать аргументы и мотивы, чтобы выставить свое благородство, свою мужественность. Но язык мой отказался от этой лжи.

— Да, правда. Я не поверил себе, а поверил чужой насмешке, случайному слову... И предал все — и мое чувство, и наш поцелуй, и вас...

— Много месяцев... даже лет... я не могла вам это простить.

— До сих пор?

— Я злопамятная. Хотя нет... Теперь это так далеко... Просто эта наша удивительная встреча всколыхнула...

Девушки там, на помосте, стали аукать и звать ее. Она затопилась.

— Извините, что-то у них не ладится... Я побегу. А вам лучше сюда, напрямиком вверх, — здесь ближе. Будете в Москве, заходите обязательно. Хорошо? Прощайте. И подумайте, как быть с Виктором!

Она побежала рысцой по тропинке, гулко стуча сапогами. Не обернувшись, махнула мне рукой и скрылась за поворотом. Больше мы не встретились.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АВТОРЕ «РОМАНТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ»

Среди книг, написанных Альбертом Вениаминовичем Цессарским, есть одна совсем небольшая под неожиданно длинным названием: «Зяблик. Повесть о Максиме Ивановиче Грекове (Селескериди), актере и воине». Она вышла несколько лет назад в издательстве «Искусство» не очень большим тиражом и давно разошлась. Но я все-таки советую вам не пожалеть усилий, разыскать ее в какой-нибудь библиотеке и прочитать. Книга того заслуживает.

В ней рассказано об актере Максиме Грекове, любимой ролю которого была роль бесстрашного мечтателя, поэта, фантазера, строителя, комсомольца Зяблика в спектакле «Город на заре». Автор познакомился и подружился с Максимом в годы войны в знаменитом партизанском отряде Дмитрия Медведова, воевавшем в глубоком тылу противника. А. В. Цессарский — тогда еще совсем молодой человек — был в отряде врачом, а Максим — подрывником.

Короткая книга необычно построена и емко написана. Она — запись мыслей и воспоминаний, которые нахлынули на ее автора, когда он присутствовал на генеральной репетиции «Города на заре». Каждый эпизод роли Зяблика вызывает у него поток воспоминаний о жизни Максима, которая предшествовала этой репетиции. И он показывает читателю, что благородство, мужество и чистота сыграны актером так глубоко и проникновенно потому, что высокие чувства героя были и его, Максима, чувствами, готовность его героя к подвигу была убедительной потому, что была присуща Максиму в жизни.

А. В. Цессарский написал эту книгу, когда его друга актера Максима Грекова, сраженного тяжелой болезнью, не стало. В этой маленькой книжке он выразил большую и важную мысль, что подлинно правдивого изображения достигает в искусстве тот, кто прожил свою жизнь по тем же высоким нравственным законам, по которым судит своих героев, развенчивая своекорыстных, тщеславных и трусливых, возвышая душевно щедрых, добрых и отважных.

Эта основа актерского творчества Максима Грекова составляет и основу творчества А. В. Цессарского.

Когда началась Великая Отечественная война, автор «Зяблика» и «Романтических историй» был студентом-медиком. Едва прозвучала по радио весть о нападении гитлеровской Германии на нашу Родину, он вместе с товарищами по факультету бросился в военкомат. Они хотели, чтобы их немедленно отправили на фронт.

— Когда потребуетесь, тогда получите повестки, — сказали им в военкомате.

Но они не были согласны ждать. Они просто не могли ждать! И через комсомольский комитет добились своего. Их вызвали в ЦК ВЛКСМ и сообщили, что зачислят в Отдельную бригаду особого назначения. Из разговоров, которые вели с ними их будущие командиры, они поняли, что им предстоят дела необычайно трудные и очень опасные. Тем, кто не уверен в себе, была дана возможность отказаться. Студент-медик А. В. Цессарский ни на миг не колебался в своем решении. На несколько недель он вернулся в медицинский институт, чтобы, ускоренно сдав экзамены и получив диплом врача, ждать боевого назначения. После недолгой подготовки он был направлен в партизанский отряд, принимавший участие в сражении за Москву. Вскоре после разгрома гитлеровцев под Москвой он узнал, что старый чекист Дмитрий Медведев формирует партизанский отряд для действий в глубоком тылу противника. С немалым трудом, заработав даже выговор за то, что действует не по инстанциям, он добился зачисления в отряд Медведева.

Первое же задание оказалось сложным. Чтобы сделать операцию, нужно было спрыгнуть с парашютом к тому, кто нуждается в помощи хирурга. Об этой необычайной операции в тылу у врага (операционной служила темная землянка, с потолка которой на импровизированный операционный стол сыпалась земля) А. В. Цессарский рассказал в своей книге «Записки партизанского врача».

Это одна из самых интересных книг о действиях партизан в Отечественной войне. В ней созданы портреты боевых друзей автора — командира отряда Дмитрия Медведева, талантливейшего разведчика Кузнецова, вчерашнего студента-филолога Шмуйловского, который в перерыве между заданиями размышляет над сложными проблемами творчества Шекспира и даже репетирует с друзьями сцену из «Гамлета»...

Действия партизанской разведки, операции подрывников, суровый партизанский суд, своеобразный быт лесного отряда, необходимость многому учиться заново, зная, что экзамены будет принимать самый суровый экзаменатор -- война, — обо всем этом в «Записках» рассказано увлекательно, с точным знанием материала, очень скромно и с чувством юмора, присущего сильным людям.

Двадцать два месяца в партизанском отряде определили для автора книги высокие моральные критерии, по которым он судит о людях и об их поступках. Они дали ему такой обширный материал, что он не вместился в одну книгу, заставляя возвращаться к нему снова и снова.

С юности два увлечения владели автором «Романтических историй» — медицина и театр. Первые годы после возвращения с войны он выступал на сцене ермоловского театра и, по воспоминаниям зрителей тех давних спектаклей, играл неплохо.

Но интерес к медицине взял верх. Вернувшись к ней, А. В. Цессарский избрал такую область, которая дает ему возможность много ездить по стране, бывать на самых разных предприятиях, встречаться с людьми самых разных профессий. Он санитарный врач, работающий в области предупреждения профессиональных заболеваний. К партизанским наградам военных лет прибавилось почетное звание заслуженного врача РСФСР.

Вот откуда почерпнуты те жизненные впечатления, те острые конфликты и столкновения характеров, которые стали основой «Романтических историй».

В своих книгах для ребят: «Исповедь», «О чем говорил мальчик», в «Романтических историях» — автор ставит своих героев перед необходимостью принять важное решение. Он хорошо знает, что не только в военные годы, но и в самый обычный трудовой день человек подчас оказывается перед выбором — уклониться от опасности, надеясь, что ее встретит грудью кто-то другой, или смело шагнуть ей навстречу, спасая других, забыть о себе, выполнить свой высокий нравственный долг, преодолевая страх, колебания, заставляя волю восторжествовать над инстинктом самосохранения. Решение это особенно трудно потому, что исключительные обстоятельства, вынуждающие принять его, оставляют для раздумий минуты, иногда даже секунды. И то, как поведет себя человек в эти мгновения трудной проверки, подготовлено всей его предшествующей жизнью. Разумеется, тут возможны неожиданности, но гораздо чаще тут действуют закономерности. Тот, кто всегда был занят больше всего своим собственным благополучием, своим житейским и душевным комфортом, тот навряд ли сумеет в минуту опасности мгновенно изменить свой характер.

Чрезмерная любовь к самому себе, к своим успехам и своим удобствам, надолго вперед расчетливо запрограммированная жизнь сделала героя рассказа «Неблагодарность», внешне волевого и мужественного человека, трусом.

В рассказе «Враги» в сходных критических обстоятельствах самые разные люди проявляют высокую самоотверженность и отвагу. Особенно дорог писателю тот, кто не только выполняет свой долг, но и делает то, чего нельзя предписать никаким долгом. Добро, которое человек может сделать человеку, не может быть ограничено мерками логической целесообразности.

Становление характера в дни мира и в дни войны; пути преодоления страха и воспитания в себе подлинного, не показного мужества; любовь и дружба, которые испытываются трудностями и опасностями, — вот главная тема книг А. В. Цессарского, в том числе и его «Романтических историй».

Молодому герою рассказа «На каникулах» кажется, что он нашел современную форму любви, при которой оказывается лишним все, что не вмещается в рассудочную логику, в прямолинейно понятую целесообразность. Но то, что происходит на его глазах с его знакомым, покорившимся было прозаически

деловому подходу к чувству, и то, что происходит с ним самим, опрокидывает все трезвые, рационалистические построения. И это прекрасно, что любовь не подчиняется деловым расчетам, что она торжествует вопреки им.

Все, что говорит автор, обладает большой убедительностью потому, что каждый нравственный вывод, к которому он подводит читателя, обеспечен прочным капиталом собственного жизненного опыта, каждому слову предшествовало дело, каждому требованию к герою — требование к самому себе.

Сергей Львов

СОДЕРЖАНИЕ

Седьмая симфония	3
Леший	13
Подорвать эшелон	23
День рождения	53
Неприемный час	59
Враги	69
Неблагодарность	77
Командировка	89
На каникулах	103
Первый поцелуй	113
<i>Сергей Львов</i> . Несколько слов об авторе «Роман- тических историй»	122

Цессарский Альберт Вениаминович
РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ. Рассказы. М., «Молодая
гвардия», 1971
128 с., с илл.

P2

Редактор **Е. Калмыкова**
Художник **Л. Ламм**
Художественный редактор **В. Плешко**
Технический редактор **Т. Цыкунова**
Корректоры: **Н. Павлова, Г. Василёва**

Сдано в набор 7/IV 1971 г. Подписано к печати 17/VIII 1971 г.
A08212. Формат 60×84^{1/16}. Бумага № 3. Печ. л. 8 (усл. 7,44).
Уч.-изд. л. 8,1. Тираж 100 000 экз. Цена 26 коп. Т. П. 1971 г.
№ 197. Заказ 763.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»,
Москва, А-30, Сушевская, 21.

26 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ